

Л. Н. ТОЛСТОЙ

КАЗАКИ



ИЗДАТЕЛЬСТВО „ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА“

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ НЕРУССКИХ ШКОЛ

Л. Н. ТОЛСТОЙ

КАЗАКИ

КАВКАЗСКАЯ ПОВЕСТЬ
/ 1852 - 1862 /



ИЗДАТЕЛЬСТВО „ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА“
МОСКВА 1971

Текст печатается по изданию:
«Л. Н. Толстой. Собрание сочинений
в двенадцати томах. Том третий. Из-
дательство художественной литерату-
ры. Москва, 1958».

*Вступительная статья
и словарь малознакомых слов
В. А. Мануйлова*

*Рисунки
Е. Лансере*

*Оформление
Б. Школьника*

Повесть Л. Н. Толстого „Кавкази“

В русско́й литерату́ре XVIII и нача́ла XIX ве́ка упоми́-
ния о Кавка́зе встреча́лись то́лько случа́йно.

По существу́, «откры́л» Кавка́з для русско́й литерату́ры
Пу́шкин. По́ездка с семье́й генера́ла Н. Н. Рае́вского по Се-
верному Кавка́зу ле́том 1820 го́да подсказа́ла ему́ за́мысел
«Кавка́зского плённика», кото́рый был напи́сан че́рез год в
Кишинёве и вы́шел в свет в 1822 го́ду.

Пе́рвая кавка́зская по́эма Пу́шкина произвела́ на совре-
ме́нников грома́дное впечатле́ние.

Сле́дуя романти́ческой тради́ции, Пу́шкин ввёл в свою́ кав-
ка́зскую по́эму не то́лько мно́жество ме́стных слов и выраже́-
ний, но и «Черке́сскую пе́сню», свиде́тельствующую об интере́-
се по́эта к фольклору́ кавка́зских наро́дов. За́тем, уже́ по́сле
по́ездки в Зака́вказье в 1829 го́ду, Пу́шкин написа́л стихотво-
ре́ния «Кавка́з», «Монасты́рь на Казбе́ке», «Обва́л», по́эму о
Тазите, кавка́зские стро́фы «Путеше́ствия Оне́гина» и «Путе-
ше́ствие в Арзу́м».

В 20-е и 30-е го́ды XIX ве́ка Кавка́з входит в жизнь и твóр-
чество Грибо́едова, Полежа́ева, Марли́нского и Ле́рмонтова.

Когда́ в нача́ле 50-х го́дов Л. Н. Толсто́й начина́л свою́ ли-
тера́турную де́ятельность и служи́л на Кавка́зе, кавка́зская
тема́тика уже́ занима́ла заме́тное ме́сто в русско́й по́эзии и
про́зе, и, коне́чно, едва́ ли не все произведе́ния, посвящённы́е
Кавка́зу и кавка́зской войне́, бы́ли ему́ хорошо́ знако́мы.
И е́сли Я. П. Полóнский продо́лжил кавка́зскую тради́цию в

поэзии второй половины XIX века, то Л. Н. Толстой написал на кавказском материале ряд очерков, рассказов и повестей: «Набег» (1852), «Рубка леса» (1855), «Из кавказских воспоминаний. Разжалованный» (1856), цикл кавказских рассказов для детей и повесть «Кавказский пленник» (1872), а также зарисовки и заметки о кавказской военной жизни: «Поездка в Мамакай-Юрт» и «Как умирают русские солдаты».

К числу самых значительных и самых поэтических произведений Толстого о Кавказе следует отнести повести «Казачи» (1852—1862) и «Хаджи-Мурат» (1896—1904)]. Вместе с эпопеей «Война и мир», романами «Анна Каренина» и «Воскресение» эти две повести принадлежат к числу лучших произведений великого русского писателя.

Над повестью «Казачи» Толстой работал около десяти лет. Работа над этой повестью непосредственно предшествовала многолетнему труду над «Войной и миром». Именно в «Казачках» созревал Толстой как мудрый художник-реалист, правдиво запечатлевший свои искания и раздумья о мужественной и честной жизни со своим народом, на родной земле, в неразрывной близости к могучей и вечной природе.

Льву Николаевичу Толстому шёл двадцать третий год. Он переживал тяжёлый духовный кризис. Ни своя собственная жизнь, ни окружающая его крепостническая действительность, ни быт и нравы дворянской молодёжи, ни университетские занятия не удовлетворяли молодого Толстого. Оставив весной 1847 года юридический факультет Казанского университета, Толстой третий год жил в Ясной Поляне. Попытка заняться хозяйством и установить со своими крестьянами разумные, социально-равноправные отношения оказалась несостоятельной. Он продолжал заниматься юридическими науками, готовясь к экзаменам на кандидата, но всё ещё не мог осознать своё жизненное призвание, найти себе место и цель в жизни. Толстой рвался в какую-то другую, неизвестную ему жизнь, сам ещё не совсем отдавая отчёт в этих юношеских порывах и стремлениях.

В апреле 1851 года в Ясную Поляну приехал Николай Ни-

коллаевич, старший брат Льва Николаевича. Он служил в кавказской армии, был в отпуску и вскоре должен был возвращаться на Кавказ. Этот суровый, величественный край, где разгоралась война с Шамилем, собравшим под свои знамена непокорные горские народы, давно привлекал Толстого, но был знаком ему только по книгам и по рассказам старших. Теперь представилась возможность круто переменить жизнь и отправиться с братом в далекое путешествие, а может быть, и поступить на военную службу.

29 апреля 1851 года братья Толстые через Москву и Казань отправились на Кавказ. От Казани до Саратова ехали на лошадях. В Саратове купили большую лодку, поставили на нее тарантас и поплыли, где под парусами, где на вёслах, Волгой до Астрахани, а затем на лошадях через Кизляр в станцию Старогладковскую, куда прибыли 20 мая. По словам Толстого, поездка по Волге была «поэтична и очаровательна», об этом путешествии «можно было бы написать целую книгу».

Л. Н. Толстой обосновался в Старогладковской, где служил его брат. Через неделю он уже ездил с братом в Староюртовское укрепление у станции Горячеводской, в июле был в ауле Мамакэй-Юрте и в крепости Грозной, а осенью, в конце октября, отправился с Николаем Николаевичем в Тифлис, чтобы оформить свое поступление на военную службу. Вернувшись в Старогладковскую в середине января 1852 года фейерверкером (унтер-офицер) одной из батарей 20-й артиллерийской бригады, Толстой принимал участие в походе в горы и потом не раз рисковал жизнью в опасных военных делах.

Походы, общение с кавказскими офицерами и солдатами имели для начинающего писателя очень большое значение. Боевые впечатления вскоре отразились в «рассказе волонтера» «Набег» и в «рассказе юнкера» «Рубка леса». Но едва ли не больше войны внимание Толстого привлекала мирная, трудовая жизнь терской станции, быт и нравы гребенских казаков и их отношение с горцами и с расквартированными в Старогладковской солдатами и офицерами. Толстой записывает чеченские и казачьи песни, всматривается в новую для него жизнь. 10 августа 1851 года он уже упоминает в своем дневнике о старом казаке Епийшке, послужившем прототипом дяди

Ерошки в повести «Казáки», и тут же характеризует молодого казака Лукашку, личность которого «так интересна и такая типическая казачья личность, что ею стоит заняться».

Дружба с Епишкой или Япишкой Сехиным, на квартире которого жил брат Николай, имела большое значение в возникновении замысла кавказской повести. Этот «старик ермоловских времён, казак, плут и шутник» охотно делился с Львом Николаевичем своими охотничьими тайнами, знакомил молодого друга с заповедными местами и много рассказывал не только об охоте на Кавказе, но и о казачьей жизни. Толстой внимательно слушал его рассказы, хорошо понимая, какой это благодарный материал для писателя. «У меня Япишка, послушаю его, поужинаю и лягу спать», — отмечает Толстой в дневнике 6 апреля 1852 года. И в следующих записях читаем: «После обеда помешал Япишка. Но рассказы его удивительны». И ещё: «Слушал Япишку». 21 октября того же года в дневнике возникает программа «Очерков Кавказа», непосредственно подсказанная общением с Сехиным: «1) Рассказы Япишки: а) об охоте, б) о старом житье казаков, с) о его положении в горах».

В августе 1853 года Толстой вплотную приступает к осуществлению этого замысла, однако вместо описательных очерков у него завязывается сюжет повести из жизни казаков. В первой редакции этого повествования уже намечено столкновение между офицером и молодым казаком из-за Марьяны, но в первой редакции она — жена казака. В офицере Губкове ещё не угадывается глубокая ищущая натура Оленина, для Губкова ухаживание за Марьяной — обычное волокитство. И Марьяна, и её муж казак лишены того обаяния молодой свежести и силы, которые так характерны для этих образов в поздних редакциях.

Работа над первой редакцией оборвалась на третьей главе. 31 августа 1853 года Толстой записал: «Встреча нейдёт как-то». По-видимому, на этой стадии работы повесть должна была называться «Встреча». Впрочем, в дневнике этот же вариант повести назывался «Беглец». Судя по более поздним конспектам, повесть должна была закончиться тем, что муж

Марьяны, узнав о том, что она полюбила Губкова, убивает офицера и убегает в горы к чеченцам.

Как утверждает Н. Н. Гусев¹, в основу этого замысла была положена история казака, бежавшего в горы к Шамилю. Уже в последние годы жизни Лев Николаевич рассказывал Гусеву: «Слышал я,— это факт,— что казак, который убежал, в горы и абреком стал и убивал казаков, соскучился, пришёл в деревню и дался прямо в руки, и его казнили, повесили, и он твёрдо, спокойно умер». Случаев таких было несколько. В 1854 году в станице Наурской, упоминаемой Толстым в одном из черновиков, был казнён казак Яков Алпатов, бежавший в горы, а затем захваченный своими.

Впрочем, в это время Толстого уже не было на Северном Кавказе. 19 января 1854 года он уехал из Старогладковской в отпуск в Ясную Поляну и в Москву, а затем в марте отправился к месту новой службы к командующему Дунайской армией князю М. Д. Горчакову в Бухарест. Новые впечатления, участие в турецкой войне, а затем военная служба в Крыму и, в частности, пребывание в осаждённом Севастополе, связанные со всем этим новые творческие замыслы отвлекли Толстого от работы над кавказской повестью. Он приступил к ней лишь весной 1857 года в Швейцарии. Именно в это время появляется окончательное заглавие: «Казáки».

Теперь замысел разрастается до масштабов романа из кавказской жизни. Он представляется Толстому состоящим из трёх частей: первая часть — приезд офицера в станицу на Тереке, увлечение его Марьяной, военная тревога, ранение молодого казака, жениха Марьяны; вторая часть — женитьба выздоровевшего казака на Марьяне, ухаживание офицера за Марьяной, вспышка ревности у казака, ударившего офицера ножом, и бегство казака в горы; третья часть — возвращение офицера, пережившего в Тифлисе роман с графиней Воронцовой, в станицу, близость его с Марьяной, поимка пришедшего тайком в станицу мужа Марьяны, казнь его и смерть офицера, убитого не то Марьяной, не то любящим её солдатом.

Толстой сознательно отходил вслед за автором «Героя нашего времени» от традиционной романтической трактовки

¹ Н. Н. Гусев — секретарь Л. Н. Толстого.

кавказской тѣмы. И, видимо, не случайно он не завершил, не воплотил до конца этот сложный сентиментально-героический вариант романа или повести.

В 1858 году он создаёт новую редакцию, близкую к окончательной. Намёренно избегая острых романтических ситуаций, Толстой сжимает своё повествование до двенадцати глав, начиная с прихода армейских в станицу и кончая письмом офицера о своей жизни в станице. Офицер в этой редакции носит имя Дмитрия Андреевича Ржавского, казак — Кирка, его товарищ — Назарка, подружка Марьяны — Устинька. Эти главы и легли в основу окончательной редакции «Казак», работа над которыми продолжалась ещё около четырёх лет (1859—1862). В эти годы появляется начальный эпизод повести — отъезд молодого человека из Москвы, теперь он уже носит фамилию Оленин, а молодой казак получает окончательно имя Лукашки.

До 1862 года Толстой не помышлял о печатанье «Казак». Он всё ещё не считал кавказскую повесть законченной. Но стесненные денежные обстоятельства привели к тому, что повесть пришлось обещать редактору «Русского вестника» М. Н. Каткову. Окончательная отделка повести несколько задержалась из-за сватовства, а затем из-за приготовлений к женитьбе на Софье Андреевне Берс. Но на другой день после свадьбы, 24 сентября Толстой с женой приехал в Ясную Поляну и через несколько дней принялся за работу. Одновременно писалась другая повесть: «Поликушка». Октябрь и ноябрь прошли в напряжённом труде. 28 ноября Толстой посылает Каткову первую половину первой части «Казак», которой он, «как всегда чрезвычайно недоволен» и «которую поправлял и переправлял» до тех пор, что уже не чувствовал «возможности над ней работать». 8 декабря Каткову отправляется «вторая половина первой части» повести. В сопроводительном письме Толстой сообщал, что замедлил отсылкой потому, что «увлекся новыми поправками и дополнениями», вследствие чего посылаемая часть «много выиграла», и он, Толстой, ею «гораздо менее недоволен», чем посланными ранее первыми главами.

Из писем Толстого к Каткову видно, что он для начала ограничился первой частью повести и предполагал продолжить

её. Но второй части так и не последовало. Эта часть, видимо, должна была осуществить вторую часть кавказского романа, задуманного в 1857 году в Швейцарии: Лукашка выздоравливает, Оленин возвращается в станицу и вновь встречается с Марьяной. Но трудно сказать, как предполагал Толстой развивать события, должно ли было дойти дело до прямого столкновения с мужем Марьяны и вынужден ли был после этого молодой казак бежать в горы.

24 февраля 1863 года первый номер «Русского вестника» с повестью Л. Н. Толстого «Казачки» вышел в свет. Как раз в эти дни Лев Николаевич в Ясной Поляне «начал новый роман» — «Войну и мир».

Появление «Казачков» в печати было замечено читателями и современной Толстому критикой. Однако не многие в полной мере поняли и оценили идейную глубину и художественные достоинства повести молодого писателя. Отрицательное отношение Толстого к европейской цивилизации, стремление его героя Оленина слиться с народной жизнью, жениться на простой казачке и стать казаком не отвечало убеждениям и чаяниям русской передовой демократической молодёжи шестидесятых годов и даже воспринималось как реакционная проповедь невежества.

Так, например, известная в те годы писательница Евгения Тур, признавая, что повесть Толстого полна «поэзии, художественности, образности», что «это самая жизнь с её неуловимой прелестью», утверждала, что автором «унижен, умалён, изломан... представитель цивилизованного общества».

Хорошо знакомый с жизнью Кавказа и Закавказья Я. П. Полонский в статье «По поводу последней повести гр. Л. Н. Толстого» писал: «Ото всей повести веет кавказским духом». И дальше: «Это неподдельный, не подкрашенный, не романтический Кавказ с романтическими героями. Каждый штрих рисует тамошнюю природу верно». Но и Полонского не удовлетворил особенно близкий Толстому образ Оленина: Полонский считал Оленина «человеком явно отживающего поколения, чём-то вроде бледного отражения лучших

людей пушкинской эпохи». «Всё, что нашёл Оленин истинно прекрасного в станице, всё это есть и в среде образованной». По мнению Полонского, такие эпизоды повести, как убийство Лукáшкой абрека, приезд брата убитого выкупить его тело, стычка казаков с абреками,— всё это не что иное, как «повести в повести», а такая сложность разбивает внимание читателя».

«Граф Толстой,— писал критик «Современника» А. Ф. Головачёв,— принадлежит к той прежней школе «художников»-писателей, к той школе, основным правилом которой всегда было, чтобы действующие лица, в особенности главные, ощущали как можно больше и рассуждали как можно беспорядочнее, совершенно не отдавали себе отчёта ни в своих ощущениях, ни в мыслях и не обращали никакого внимания на то, что кругом делается».

Казалось бы, что эти рассуждения и упрёки в слепом субъективизме ни в какой мере не имеют прямого отношения ни к Толстому, ни к Оленину. Тем не менее Головачёв именно так воспринимал Оленина и его взгляд на окружающий мир: «При начале нашего знакомства с Олениным нам всё казалось, что вот-вот автор отнесётся к своему герою иронически, и даже не без презрения к его найвничанью и крайней пустоте, а в конце обличит всю ложь его размышлений и вздорную путаницу в ощущениях. Но скоро догадались, как только вступили на сцену беспрестанные возгласы о красоте и величавости природы и первобытной женщины и появились какие-то задушевные интересы, что автор смотрит на своего героя серьёзно».

Излагая содержание повести, критик иронизирует над её автором и с явной насмешкой говорит о его «тонком анализе». Статья заканчивается суровым приговором: «Большинство наших знаменитых «художников»-писателей оказывается несостоятельно ввиду резкого поворота, который дал течение нашей общественной жизни».

Много было и восторженных откликов литературных друзей. Так, например, А. А. Фет писал Толстому 4 апреля 1863 года: «Казаки» в своём роде *chef d'oeuvre*¹. Я их читал с наме-

¹ Ш е д ё в р (франц.).

рением найти в них всё гадким от А до Z и, кроме наслаждения полнотою жизни — художественной, ничего не обрёл... Все повести из простонародного быта нельзя читать без смеха после «Казáков»... Незъяснимая прелесть таланта».

Очень высоко оценил «Казáков» И. С. Тургéнев. Он писал: «На днях перечёл я роман Л. Н. Толсто́го «Казáки» и опять пришёл в восторг. Эта вещь поистине удивительна и силы чрезмерной». И позднее Тургéнев не изменил своего восторженного отношения к этому произведению и ставил его выше романов Бальзака. У Бальзака, писал Тургéнев в 1868 году, «все лица колют глаза своей типичностью, выработаны и отделаны изысканно до мельчайших подробностей — и ни одно из них никогда не жило и жить не могло; ни в одном из них нет и тени той правды, которой, например, так и пышут лица в «Казáках» нашего Л. Н. Толсто́го».

Как ни поддерживали и ни одобряли друзья и единомышленники Толсто́го, их похвалы не могли заглушить в нём чувства горечи, вызванного недоброжелательными статьями о «Казáках» в большей части журналов тех лет. И особенно огорчал его резкий тон «Современника», журнала, в котором десять лет тому назад начиналась его профессиональная писательская деятельность.

Не многие читатели Толсто́го смогли в ту пору понять, что, живя в казачьей станице, Оленин стремился к соединению духовности, всех лучших достижений человеческой мысли, с красотой, с цельностью ничем и никем не угнетённой и ни от кого не зависящей натуры. Большая же часть критиков утверждала, что Толсто́й отошёл в своей кавказской повести от важнейших проблем эпохи, идеализирует первобытность и осуждает цивилизацию. На самом деле Толсто́й не осуждал цивилизации вообще, но указывал на безнравственность и лживость нравов и образа жизни современного ему дворянского общества. Он противопоставлял лжи и насилию паразитических классов идеал народной жизни, который ему представлялся в свете патриархально-естественной свободы и красоты.

При этом следует отметить, что осуждение Толсто́м паразитизма господствующих классов, правдивое изображение

в его произведениях противоречий русской жизни было исторически прогрессивно.

Впоследствии это отчетливо показал В. И. Ленин в статьях о Толстом.

В критических замечаниях современников Толстого, доброжелательных и враждебных, по поводу его «Казачков» были, конечно, и верные наблюдения и соображения, но и эти верные замечания часто истолковывались неверно, приводили к ошибочным выводам. Так, например, П. В. Анненков и Я. П. Полонский отмечали, что идея «Казачков» не нова, что она идет от пушкинских «Цыган». Полонский упрекал Толстого в том, что его «Оленин — герой без всякой силы», «маленький Гамлетик», которого автор даже не смеет казнить так, как Пушкин казнил своего Алёко, «ибо повредил бы не только герою, но и собственной мысли своей стал бы в противоречие».

Сопоставление «Казачков» с «Цыганами» при всем их жанровом различии вполне правомечно. Расстановка действующих лиц и их взаимоотношения, сюжетная схема кавказской повести Толстого и южной поэмы Пушкина дают основания для их сближения. Образ Оленина, его психологический анализ даны Толстым в реалистическом плане, но жизненная позиция Оленина, сюжетные ситуации, в которых он оказывается, во многом напоминают сюжетные положения и мотивы, характерные для героев романтических поэм, особенно судьбу Алёко.

«Что ж вы сюда приехали, волей или неволей?» — спрашивает Лукашка. И Оленин отвечает: «Так, по своей охоте». Вспомним «Кавказского пленника» Пушкина:

Отступник света, друг природы,
Покинул он родной предел
И в край далёкий полетел
С весёлым призраком свободы.

Алёко в «Цыганах» признаётся Земфире:

А я... одно моё желанье
С тобой делить любовь, досуг
И добровольное изгнанье.

В соответствии с требованиями романтической эстетики история Плённика и Алёко дана пунктирно, герои показаны в самые существенные, драматические моменты, их прошлое только угадывается в авторской характеристике «Кавказского плённика» и в монологах Алёко в «Цыганах». В реалистической повести «Казáки» всё очевидно романтикой, но принцип изображения действующих лиц и окружающей их действительности реалистический. И не случайно Толстой начинáет повествование отъездом Олёнина из Москвы и заканчивает его отъездом из Новомлинской в крепость, где стоит полк. Пёрвая глава даёт представление читателю о той жизни, которую решил оставить Олёнин. И в следующих главах во внутренних монологах Олёнина, в его письме, никому не отправленном, постоянно прорывается его разочарование в светском обществе, его неприятие социальной действительности, его враждебность к городскому образу жизни. Пёрвый же абзац пёрвой главы вскрывает этот ощущаемый Олёниным конфликт между трудовым людом и господами: «Рабочий народ уж поднимáется после долгой зимней но́чи и идёт на работы. А у госпóд ещё вèчер». Так говорит автор, но эти слова подготáвливают раздумья Олёнина, осуждающего праздную и ложную барскую жизнь.

Олёнин едет в добровольное изгнание на Кавказ. «И совершенно новое для него чувство свободы от всего прошедшего охватывало его между этими грубыми существами, которых он встречал по дороге и которых не признавал людьми наравне с своими московскими знакомыми. Чем грубее был народ, чем меньше было признаков цивилизации, тем свободнее он чувствовал себя».

Жизнь в станции внутренне очищает Олёнина, освобождает его от сословных предрассудков, дèлает его человеком. Но вот в станции появляется «милый и добродушный малый», офицер Белецкий, который сыплет «французские и русские слова из того мира, который, как думал Олёнин, был покинут им навсегда», и Олёнин чувствует: «так и пахнуло от него всёю тою гадостью, от которой он отрèкся». И тут же Толстой обращает внимание на то, что этот породивший Олёнина и ставший ему чужим мир всё ещё имеет над ним могущую

власть: «Досаднее же всего ему было то, что он не мог, решительно не был в силах резко оттолкнуть от себя этого человека из того мира, как будто этот старый, бывший его мир имел на него неотразимые права».

Чем дальше, тем отчетливее сознаёт Оленин свой разрыв с этим миром праздности и лжи. В письме своём он пишет: «Как вы мне все гадки и жалки! Вы не знаете, что такое счастье и что такое жизнь! Надо раз испытать жизнь во всей её безыскусственной красоте... Как только представлятся мне вместо моей хаты, моего леса и моей любви эти гостиные, эти женщины с припомаженными волосами над подсунутыми чужими бükлями, эти неестественно шевелящиеся губки, эти спрятанные и изуродованные слабые члены и этот лепет гостинных, обязанный быть разговором и не имеющий никаких прав на это,— мне становится невыносимо гадко. Представляются мне эти тупые лица, эти богатые невесты с выражением лица, говорящим: «Ничего, можно, подойди, хоть я и богатая невеста»; эти усаживанья и пересаживанья, это наглое сводничанье пар и эта вечная сплётня, притворство; эти правила — кому руку, кому кивок, кому разговор, и наконец эта вечная скука в крови, переходящая от поколения к поколению (и всё сознательно, с убеждением в необходимости). Поймите одно или поверьте одному. Надо видеть и понять, что такое правда и красота, и в прах разлетится всё, что вы говорите и думаете, все ваши желанья счастья и за меня, и за себя. Счастье — это быть с природой, видеть её, говорить с ней».

Разве не находим мы зерно этой страстной исповеди Оленина в известном монологе Алёко?

О чём жалеть? Когда б ты знала,
Когда бы ты воображала
Неволю душных городо́в!
Там люди в кучах, за оградой
Не дышат утренней прохладой,
Ни вешним запахом лугов;
Любви стыдятся, мысли гонят,
Торгуют волею своей,
Главы пред идолами клонят
И просят денег да цепей.

Что бросил я? Измен волненье,
Предрассуждений приговор,
Толпы безумное гоненье
Или блистательный позор.

Между Алёко и Олениным стоят Онёгин, Печорин, Бельтов, Рудин. Внутренний мир Оленина сложнее и чище, чем у Алёко. Герой Толстого не «блédное отражение лучших людей пушкинской эпохи», но их наследник, обогащённый горьким опытом предыдущих поколений «лишних людей» и «кающихся дворян». В нём много автобиографического, выражающего искания молодого Толстого, и он, вместе с тем, является типическим обобщением лучших черт ищущего дворянина-интеллигента 50-х — начала 60-х годов XIX века. Об этом нельзя забывать, сближая образы Алёко и Оленина. Но проблематика — уход мыслящего и разочарованного героя от породившего его общества в жизнь, близкую к природе, чтобы найти утраченную гармонию и духовное здоровье среди простых людей, не испорченных цивилизацией, — эта проблематика, связанная с традициями европейского руссоизма, весьма существенна и для «Цыган» Пушкина и для «Казяков» Толстого.

Гораздо меньше сходства в характерах и во внешнем облике у Марьяны с Земфирой, у Лукашки с молодым цыганом, у Ерочки со старым цыганом, но соответствие их друг другу в сюжетных схемах повести Толстого и поэмы Пушкина совершенно очевидно. Следует всячески подчеркнуть, что здесь речь идёт не о влиянии, не о заимствовании, а об общих проблемах и положениях, одинаково важных и для Толстого, и для Пушкина.

Известно, что Толстой знал, любил и постоянно перечитывал «Цыган» Пушкина. Так, в дневниковых записях первой половины июля 1854 года Толстой отмечает чтение Лермонтова и Пушкина и особо выделяет: «Перечитал «Героя нашего времени». И тут же: «поразили» «Цыганы» Пушкина, которых он, как это ему ни странно, «не понимал до сих пор». Через два года, в июне 1856 года, в самый разгар работы над «Казяками», Толстой возвращается к чтению Пушкина, и в частности «Цыган», и снова записывает в дневнике: «Продолже-

ние чтёния Пушкина. «Цыгáне» прелéсны, как и в пёр-
вый раз...»

В «Кавкáзском плéннике» и в «Цыгáнах» Пу́шкин во мно-
гом слéдовал и возража́л не то́лько Ба́йрону, но и Жан-Жáку
Руссо́. Лев Толсто́й хорошо́ знал творéния англéйского поёта
и сочинéния женéвского филосóфа. Сам Толсто́й утвержда́л:
«Я прочёл всего́ Руссо́, все двáдцать томóв, включа́я «Словáрь
му́зыки». Я бо́лее чем восхища́лся им,— я боготвори́л его́.
В 15 лет я носил на ше́е медальо́н с его́ портре́том вмéсто
натéльного крестá. Мно́гие страни́цы его́ так близки́ мне, что
мне ка́жется, я их написáл сам».

Одно́ из глáвных положéний филосóфии Руссо́ заключа́лось
в том, что цивилиза́ция пор́тит челове́ка и то́лько возврат к
первобы́тному состоя́нию на лóне приро́ды мо́жет исцели́ть от
поро́ков цивилизо́ванного о́бщества и верну́ть утра́ченную гар-
мо́нию. Эта мысль занима́ла и Ба́йрона, и в ряде его́ произве-
дéний она́ поло́жена в осно́ву за́мысла. Таковы́ две пёрвые
пéсни «Чайльд Гаро́льда» (1812), филосóфско-символи́ческая
поэ́ма «Ма́нфред» (1818), не́которые стро́фы «Дон Жу́ана»
(напримéр, в пéсне VII, стро́фы 61—67) и о́собенно поэ́ма
«Остров» (1822), в кото́рой Ба́йрон со́здал поэти́ческую карти́-
ну естéственного состоя́ния первобы́тных люде́й, не зна́ющих
ча́стной со́бственности, социáльного нера́венства и угнетéния.
Одна́ко уже́ Ба́йрон начина́л понима́ть, что возврат современ-
ного челове́чества к естéственному первобы́тному состоя́нию
невозмо́жен.

С горáздо бо́льшей си́лой и послéдовательностью прекра-
снóдушные, сентиментáльные иллю́зии разру́шил в своих ро-
манти́ческих поэ́мах Пу́шкин. Его́ Плéнник и в о́собенности
Але́ко вступа́ют в конфли́кт не то́лько со своим о́бществом, но
и с те́ми просты́ми, «естéственными» людьми́ и усло́виями их
далёкой от цивилиза́ции жи́зни, среди́ кото́рых грéзилась воз-
мо́жность морáльного возрождéния. Как то́лько Плéнник по-
лучáет возмо́жность с по́мощью полюби́вшей его́ черкэ́шенки
вы́рваться из плéна, он возвращáется в свой стан..

Взошла́ заря́. Тропóй далёкой
Освобождéнный плéнник шёл,

И перед ним уже в туманах
Сверкали русские штаны,
И откликались на курганах
Сторожевые казаки.

Алеко, который «для себя лишь хочет воли», жертва собственного миропонимания, не может стать «простым цыганом». На родине «его преследует закон» и разлад с самим собой, но и в лагере он не может найти освобождения от своих собственных «прав» («От прав моих не откажусь», — говорит он старику). Он любит «горестно и трудно». И он убивает разлюбившую его Земфиру и снова остаётся один, изгнанный приговором старого цыгана из лагеря:

Оставь нас, гордый человек!
Мы дики, нет у нас законов,
Мы не терзает, не казнит,
Не нужно крови нам и стонов,
Но жить с убийцей не хотим.

Алеко «не рождён для дикой доли». И его попытка найти счастье под цыганским шатром на лоне природы обречена на крушение.

Отказавшись от романтических страстей, измен и убийств, Толстой в своей реалистической кавказской повести правдиво раскрывает перед читателем диалектику душевной жизни Оленина и убедительно доказывает всю несостоятельность его руссоистских, идеалистических мечтаний.

Идеи Руссо своей соблазнительной прелестью властно привлекали Толстого и многих его современников, они все ещё владели умами мыслителей и художников второй половины XIX века, мучительно искавших выхода из трагических социальных противоречий своего времени.

Маркс и Энгельс, всегда относившиеся с большим уважением к философии Руссо, отмечавшие, что при рассмотрении вопроса о происхождении неравенства среди людей многие мысли Руссо были преисполнены диалектики, вместе с тем последовательно показывали идеалистический характер его учения, ошибочность вывода о том, что наука, искусство, культура в целом не только не приносят пользы, но и портят че-

ловёка. Марксистская критика показала, что Руссо, разоблачая лицемерие и внешний доск так называемого светского общества, роскошь, праздность, пороки аристократии, впадал в идеализацию примитивного патриархального быта, простой, «естественной» жизни.

В 50-е и в начале 60-х годов XIX века, когда создавались «Казáки», марксистская критика идей Руссо ещё только зарождалась. Тем интереснее и значительнее, что великий русский писатель, идя своими путями, пережив в юности восторженное увлечение идеями Руссо и включив многое из них в свою этическую систему, смог преодолеть руссоистские иллюзии и показать несбыточность руссоистских утопий на примере судьбы героя своей повести Оленина.

Как ни были заманчивы и поэтичны мечты и стремления Оленина, но он не смог стать простым казаком, не смог жениться на Марьяне, не смог преодолеть сословно-классового барьера между собой и гребенскими казаками. Точно так же не смог преодолеть этот барьер между собой и своими крестьянами предшественник Оленина в творчестве Толстого Дмитрий Нехлюдов в повести «Утро помещика». Оленин уезжает в конце повести в крепость, и Толстой подчёркивает безразличие к нему остающихся в станице Ерóшки и Марьяны: «Оленин оглянулся. Дядя Ерóшка разговаривал с Марьянкой, видимо, о своих делах, и ни старик, ни девушка не смотрели на него».

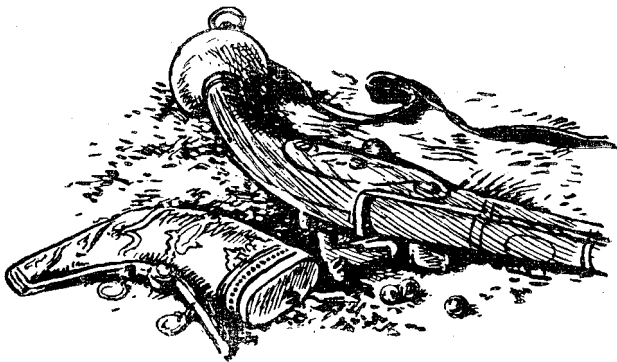
Однако не следует полагать, что значение повести Толстого «Казáки» только в преодолении руссоистских иллюзий. Разрабатывая традиционную, но важную для своего времени философскую проблематику, Толстой создал живой и безусловно положительный образ молодого русского офицера, которого уже не может удовлетворить пустая жизнь светской молодёжи и который понимает, что «спасение от этого ложного пути находится только в народе» (слова Н. А. Добролюбова). Найти верные пути к народу героям Толстого и Тургенева (вспомним Нежданова в романе «Новь») было не просто, а иллюзии, подобные иллюзиям Оленина, должны были рано или поздно развеяться. Но история исканий Оленина и горькое разочарование, правдивый и глубокий анализ его духовно-

го развития для читателей многих поколений представляли и представляют большой познавательный и воспитательный интерес.

И, наконец, Толстой в своей повести «Казáки» с таким пониманием реальных человеческих отношений проник в самые сокровенные закономерности исторической действительности на Кавказе, так показал величественную природу этого края, быт и нравы его вольных обитателей, что даже по сравнению с художественными открытиями Пушкина и Лермонтова, именно Толстому было суждено в области разработки кавказской тематики сказать новое слово художника-реалиста. Обаятельные образы сильной и непокорной казачки Марьяны, мудрого охотника-следопыта дяди Ерóшки, удалого казака Лукашки обогатили русскую литературу правдивыми цельными национальными характерами, имеющими для дальнейшего развития русской литературы едва ли не большее значение, чем образы «странных» и «лишних людей» первой половины XIX века. Это народное богатство наследия Толстого особенно плодотворно сказалось на лучших достижениях советской литературы (Серафимович, Фадеев, Шолохов и многие другие современные советские русские писатели). Могучее воздействие наследия Толстого на социалистическую культуру предвидел В. И. Ленин, писавший в 1910 году о Л. Н. Толстом: «...в его наследстве есть то, что не отошло в прошлое, что принадлежит будущему. Это наследство берёт и над этим наследством работает российский пролетариат».

В. Мануйлов

БАЗАКИ



I

Всё затихло в Москвѣ. Рѣдко, рѣдко где слышится визг колѣс по зѣмней ѳлице. В ѳкнах огнѣй ужѣ нет, и фонарѣ потѳхли. От церквѣй разнѳются звѳки колоколѳв и, колыхаѳсь над спѳющим гѳродом, поминают об ѳтре. На ѳлицах пѳсто. Рѣдко где промѣсит ѳзкими полѳзьями песѳк с снѳгом ночнѳй извѳзчик и, перебравшись на другѳй ѳгол, заснѣт, дожидаясь седокѳ. Пройдѣт старѳшка в цѣрковь, где уж, отражаясь на золотѳх окладах, краснѳ и рѣдко горѳт несимметрично расставленные восковѣе свѣчи. Рабѳчий нарѳд уж поднимается послѣ дѳлгой зѣмней нѳчи и идѣт на рабѳты.

А у госпѳд ещѣ вѣчер.

В однѳм из ѳкон Шевальѣ из-под затворѣнной стѳвни противузакѳнно свѣтится огѳнь. У подѳезда стоят карѣта, сѳни и извѳзчики, стеснѣвшись задкѳми. Почтѳвая трѳйка стоит тут же. Двѳрник, закутавшись и сжѳвшись, тѳчно прѳчется зѳ ѳгол дѳма.

«И чегѳ переливают из пѳстого в порѳжнее? — дѳмает лакеѳ, с осѳнувшимся лицѳм, сѳдя в перѣдней. — И всѣ на моѣ

дежурство!» Из соседней светлой комнатки слышатся голоса трёх ужинающих молодых людей. Они сидят в комнате около стола, на котором стоят остатки ужина и вина. Один, маленький, чистенький, худой и дурной, сидит и смотрит на отъезжающего добрыми, усталыми глазами. Другой, высокий, лежит подле уставленного пустыми бутылками стола и играет ключиком часов. Третий, в новеньком полушубке, ходит по комнате и, изредка останавливаясь, щёлкает миндаль в довольно толстых и сильных, но с отчищенными ногтями пальцах, и всё чему-то улыбается; глаза и лицо его горят. Он говорит с жаром и с жёстами; но видно, что он не находит слов, и все слова, которые ему приходят, кажутся недостаточными, чтобы выразить всё, что подступило ему к сердцу. Он беспрестанно улыбается.

— Теперь можно всё сказать! — говорит отъезжающий. — Я не то что оправдываюсь, но мне бы хотелось, чтобы ты по крайней мере понял меня, как я себя понимаю, а не так, как пошлость смотрит на это дело. Ты говоришь, что я виноват перед ней, — обращается он к тому, который добрыми глазами смотрит на него.

— Да, виноват, — отвечает маленький и дурной, и кажется, что ещё больше доброты и усталости выражается в его взгляде.

— Я знаю, отчего ты это говоришь, — продолжает отъезжающий. — Быть любимым, по-твоему, такое же счастье, как любить, и довольно на всю жизнь, если раз достиг его.

— Да, очень довольно, душа моя! Больше чем нужно, — подтверждает маленький и дурной, открывая и закрывая глаза.

— Но отчего ж не любить и самому! — говорит отъезжающий, задумывается и как будто с сожалением смотрит на приятеля. — Отчего не любить? Не любится. Нет, любимым быть — несчастье, несчастье, когда чувствуешь, что виноват, потому что не даёшь того же и не можешь дать. Ах, боже мой! — Он махнул рукой. — Ведь если бы это всё делалось разумно, а то навыворот, как-то не по-нашему, а по-своему всё это делается. Ведь я как будто украд это чувство. И ты так думаешь; не отказывайся, ты должен это думать. А поверишь ли, из всех глупостей и гадостей, которых я много успел

надѣлать в жизни, это одна, в которой я не раскѣиваюсь и не могу раскѣиваться. Ни сначала, ни после я не лгал ни перед собой, ни перед нею. Мне казалось, что наконец-то вот я полюбил, а потом увидал, что это была невольная ложь, что так любить нельзя, и не мог идти далее; а она пошла. Разве я виноват в том, что не мог? Что же мне было дѣлать?

— Ну, да теперѣ кончено! — сказал приятель, закуривая сигару, чтобы разогнать сон. — Одно только: ты еще не любил и не знаешь, что такое любить.

Тот, который был в полушубке, хотел опять сказать что-то и схватил себя за голову. Но не высказывалось то, что он хотел сказать.

— Не любил! Да, правда, не любил. Да есть же во мне желаніе любить, сильнее которого нельзя имѣть желанья! Да опять, и есть ли такая любовь? Все остается что-то недоконченное. Ну, да что говорить! Напутал, напутал я себе в жизни. Но теперѣ все кончено, ты прав. И я чувствую, что начинается новая жизнь.

— В которой ты опять напутаешь, — сказал лежавший на диване и игравший ключиком часов; но отъезжающий не слышал его.

— Мне и грустно, и рад я, что еду, — продолжал он. — Отчего грустно? Я не знаю.

И отъезжающий стал говорить об одном себе, не замечая того, что другим не было это так интересно, как ему. Человек никогда не бывает таким эгоистом, как в минуту душевного восторга. Ему кажется, что нет на свете в эту минуту ничего прекраснее и интереснее его самого.

— Дмитрий Андреевич, ямщик ждать не хочет! — сказал вошедший молодой дворовый человек в шубе и обвязанный шарфом. — С двенадцатого часа лошади, а теперѣ четыре.

Дмитрий Андреевич посмотрел на своего Ванюшу. В его обвязанном шарфе, в его валяных сапогах, в его заспанном лицѣ ему слышался голос другой жизни, призывавшей его, — жизни трудов, лишений, дѣятельности.

— И в самом дѣле, прощай! — сказал он, ища на себе незастѣгнутого крючка.

Несмотря на советы дать еще на водку ямщику, он надѣл

шапку и стал посередине комнаты. Они расцеловались раз, два раза, остановились и потом поцеловались третий раз. Тот, который был в полушубке, подошёл к столу, выпил стоявший на столе бокал, взял за руку маленького и дурного и покраснел.

— Нет, всё-таки скажy... Надо и можно быть откровенным с тобой, потому что я тебя люблю... Ты ведь любишь её? Я всегда это думал... да?

— Да,— отвечал приятель, ещё кротче улыбаясь.

— И может быть...

— Пожалуйста, свечи тушить приказано,— сказал заспанный лакей, слушавший последний разговор и соображавший, почему это господá всегда говорят всё одно и то же.— Счёт за кем записать прикажете? За вами-с? — прибавил он, обращаясь к высокому, вперёд зная, к кому обратиться.

— За мной,— сказал высокий.— Сколько?

— Двадцать шесть рублей.

Высокий задумался на мгновение, но ничего не сказал и положил счёт в карман.

А у двух разговаривающих шло своё.

— Прощай, ты отличный малый! — сказал господин маленький и дурной с короткими глазами.

Слёзы навернулись на глаза обoим. Они вышли на крыльцо.

— Ах, да! — сказал отъезжающий, краснея и обращаясь к высокому.— Счёт Шевалье ты устроишь, и тогда напиши мне.

— Хорошо, хорошо,— сказал высокий, надевая перчатки.— Как я тебе завидую! — прибавил он совершенно неожиданно, когда они вышли на крыльцо.

Отъезжающий сел в сани, закутался в шубу и сказал: «Ну что ж! Поѐдем», и даже подвинулся в санях, чтобы дать место тому, который сказал, что ему завидует; голос его дрожал.

Провожавший сказал: «Прощай, Митя, дай тебе бог...» Он ничего не желал, кроме только того, чтобы тот уѐхал поскорее, и потому не мог договорить, чего он желал.

Они помолчали. Ещё раз сказал кто-то: «Прощай».

Кто-то сказал: «Пошёл!» И ямщик тронул.

— Елизар, подавай! — крикнул один из провожавших.

Извóзчики и кúчер зашевелились, зачмокали и задёргли вожжáми. Замёрзшая карéта завизжáла по́ снегу.

— Слáвный мáлый éтот Олéнин,— сказáл одíн из провожáвших.— Но что за охóта ёхать на Кавкáз и ю́нкером? Я бы полтíнника не взял. Ты бúдешь зáвтра обéдать в клубе?

— Бúду.

И провожáвшие разъéхались.

Отъезжáвшему казáлось тепло́, жáрко от шúбы. Он сел на дно санéй, распахнúлся, и ямскáя взъерóшенная трóйка потáщилась из тёмной úлицы в úлицу мíмо какíх-то невиданных им домóв. Олéнину казáлось, что тóлько отъезжáющие ёздят по éтим úлицам. Кругóм бýло темно́, безмóлвно, уны́ло, а в душé бýло так полно́ воспомина́ний, любви́, сожалéний и прíятных давívших слéз...

II

«Люблú! Очень люблú! Слáвные! Хорошó!» — твердíl он, и ему́ хотéлось пла́кать. Но отчего́ ему́ хотéлось пла́кать? Кто бýли слáвные? Кого́ он óчень любíл? Он не знал хорошéнько. Иногдá он вглядывался в какóй-нибудь дом и удивля́лся, зачём он так стрáнно вýстроен; иногдá удивля́лся, зачём ямщíк и Ваню́ша, котóрые так чужды́ ему́, находятя так б́лизко от него́ и вмéсте с ним трясúтся и покáчиваются от порýва пристяжных, натягивающих мёрзлые пострóмки, и снóва говорíл: «Слáвные, люблú!» и раз дáже сказáл: «Как хвáтит! Отлúчно!» И сам удивíлся, к чему́ он éто сказáл, и спросíл себя́: «Уж не пьян ли я?» Прáвда, он в́пил на своú дóлю бутылки две винá, но не одно́ вино́ производíло éто дéйствиe на Олéнина. Ему́ воспомина́лись все задушéвные, как ему́ казáлось, словá дрúжбы, стыдлúво, как бúдто нечáянно, в́сказанные ему́ перед отъездом. Вспомина́лись пожáтия рук, взгляды́, молчáния, звук гóлоса, сказáвшего: *прощáй, Мíтя!*—когда́ он ужé сидéл в санíях. Вспомина́лась своú собствeнная решíтельная откровéнность. И всё éто для него́ имéло трóгательное значéние. Перед отъездом не тóлько друзья́, родны́е, не тóлько равнодúшные, но несимпатíчные, недоброжелáтельные лúди,

все как будто вдруг сговорились сильнее полюбить его, простить как пред исповедью или смертью. «Может быть, мне не вернуться с Кавказа», — думал он. И ему казалось, что он любит своих друзей и ещё любит кого-то. И ему было жалко себя. Но не любовь к друзьям так размягчила и подняла его душу, что он не удерживал бессмысленных слов, которые говорились сами собой, и не любовь к женщине (он никогда ещё не любил) привела его в это состояние. Любовь к самому себе, горячая, полная надежд, молодая любовь ко всему, что только было хорошего в его душе (а ему казалось теперь, что только одно хорошее было в нём), заставляла его плакать и бормотать несвязные слова.

Оленин был юноша, нигде не кончивший курса, нигде не служивший (только числившийся в каком-то присутственном месте), промотавший половину своего состояния и до двадцати четырёх лет не избравший ещё себе никакой карьеры и никогда ничего не делавший. Он был то, что называется «молодой человек» в московском обществе.

В восемнадцать лет Оленин был так свободен, как только бывали свободны русские богатые молодые люди сороковых годов, с молодых лет оставшиеся без родителей. Для него не было никаких — ни физических, ни моральных — оков; он всё мог сделать, и ничего ему не нужно было, и ничто его не связывало. У него не было ни семьи, ни отечества, ни веры, ни нужды. Он ни во что не верил и ничего не признавал. Но, не признавая ничего, он не только не был мрачным, скучающим и резонирующим юношей, а напротив, увлекался постоянно. Он решил, что любви нет, и всякий раз присутствие молодой и красивой женщины заставляло его замирать. Он давно знал, что почести и звание — вздор, но чувствовал невольно удовольствие, когда на бале подходил к нему князь Сергей и говорил ласковые речи. Но отдавался он всем своим увлечениям лишь настолько, насколько они не связывали его. Как только, отдавшись одному стремлению, он начинал чувствовать приближение труда и борьбы, мелочной борьбы с жизнью, он инстинктивно торопился оторваться от чувства или дела и восстановить свою свободу. Так он начинал светскую жизнь, службу, хозяйство, музыку, которой одно время думал посвятить себя,

и даже любовь к женщинам, в которую он не верил. Он раздумывал над тем; куда положить всю эту силу молодости, только раз в жизни бывающую в человеке,— на искусство ли, на науку ли, на любовь ли к женщине, или на практическую деятельность,— не силу ума, сердца, образования, а тот неповторяющийся порыв, ту на один раз данную человеку власть сделать из себя всё, что он хочет, и как ему кажется, и из всего мира всё, что ему хочется. Правда, бывают люди, лишённые этого порыва, которые, сразу входя в жизнь, надевают на себя первый попавшийся хомут и честно работают в нём до конца жизни. Но Оленин слишком сильно сознавал в себе присутствие этого всемогущего бога молодости, эту способность превратиться в одно желание, в одну мысль, способность захотеть и сделать, способность броситься головой вниз в бездонную пропасть, не зная за что, не зная зачем. Он носил в себе это сознание, был горд им и, сам не зная этого, был счастлив им. Он любил до сих пор только себя одного и не мог не любить, потому что ждал от себя одного хорошего и не успел ещё разочароваться в самом себе. Уезжая из Москвы, он находился в том счастливом, молодом настроении духа, когда, сознав прежние ошибки, юноша вдруг скажет себе, что всё это было не то,— что всё прежнее было случайно и незначительно, что он прежде не хотел жить *хорошенько*, но что теперь, с выездом его из Москвы, начинается новая жизнь, в которой уже не будет больше тех ошибок, не будет раскаяния, а навёрное будет одно счастье.

Как всегда бывает в дальней дороге, на первых двух-трёх станциях воображение остаётся в том месте, откуда едешь, и потом вдруг, с первым утром, встреченным в дороге, переносится к цели путешествия и там уже строит замки будущего. Так случилось и с Олениным.

Выехав за город и оглядев снежные поля, он пораздовался тому, что он один среди этих полей, завернулся в шубу, опустился на дно саней, успокоился и задремал. Прощанье с приятелями растрогало его, и ему стала вспоминаться вся последняя зима, проведённая им в Москве, и образы этого прошедшего, перебиваемые неясными мыслями и упреками, стали непрощенно возникать в его воображении.

Ему вспомнился этот провожавший его приятель и его отношения к девушке, о которой они говорили. Девушка эта была богата. «Каким образом он мог любить её, несмотря на то, что она меня любила?» — думал он, и нехорошие подозрения пришли ему в голову. «Много есть нечестности в людях, как подумаешь. А отчего ж я ещё не любил в самом деле?» — представился ему вопрос. «Все говорят мне, что я не любил. Неужели я нравственный урод?» И он стал вспоминать свои увлечения. Вспомнил он первое время своей светской жизни и сестру одного из своих приятелей, с которою он проводил вечера за столом при лампе, освещавшей её тонкие пальцы за работой и низ красивого тонкого лица, и вспомнились ему эти разговоры, тянувшиеся как «жив-жив курилка», и общую неловкость, и стеснение, и постоянное чувство возмущения против этой натянутости. Какой-то голос всё говорил: *не то, не то*, и точно вышло не то. Потом вспомнился ему бал и мазурка с красивою Д. «Как я был влюблён в эту ночь, как был счастлив! И как мне больно и досадно было, когда я на другой день утром проснулся и почувствовал, что я свободен! Что же она, любовь, не приходит, не вяжет меня по рукам и по ногам?» — думал он. «Нет, нет любви! Соседка барыня, говорившая одинаково мне и Дубровину, и предводителю, что любит звёзды, была также *не то*». И вот ему вспоминается его хозяйственная деятельность в деревне, и опять не на чем с радостью остановиться в этих воспоминаниях. «Долго они будут говорить о моём отъезде?» — приходит ему в голову. Но кто это они, он не знает, и вслед за этим приходит ему мысль, заставляющая его морщиться и произносить неясные звуки: это воспоминание о мосье Капеле и шестистах семидесяти восьми рублях, которые он остался должен портному, и он вспоминает слова, которыми он упрощивал портного подождать ещё год, и выражение недоумения и покорности судьбе, появившееся на лице портного. «Ах, бóже мой, бóже мой!» — повторяет он, щурясь и стараясь отогнать несносную мысль. «Однако она меня несмотря на то любила», — думает он о девушке, про которую шла речь при прощании. «Да, коли я бы на ней женился, у меня бы не было долгов, а теперь я остался должен Васильеву». И представляется ему последний вечер с г. Василье-

вым в клубе, куда он поехал прямо от неё, и вспоминаются униженные просьбы играть ещё и его холодные отказы. «Год эконómии, и всё это будет заплачено, и чёрт их возьми...» Но несмотря на эту уверенность, он снова начинает считать оставшиеся долги, их сроки и предполагаемое время уплаты. «А ведь я ещё остался должен Морéлю, кроме Шевалье», — вспоминалось ему; и представляется вся ночь, в которой он ему задолжал столько. Это была попойка с цыганами, которую затеяли проезжие из Петербурга: Сашка Б***, флигель-адъютант, и князь Д***, и этот важный старик... «И почему они так довольны собой, эти господа? — подумал он, — и на каком основании составляют они особый кружок, в котором, по их мнению, другим очень лестно участвовать. Неужели за то, что они флигель-адъютанты? Ведь это ужасно, какими глупыми и подлыми они считают других! Я показал им, напротив, что несколько не желаю сближаться с ними. Однако, я думаю, Андрей управляющий очень был бы озадачен, что я на ты с таким господином, как Сашка Б***, полковником и флигель-адъютантом... Да и никто не выпил больше меня в этот вечер; я выучил цыган новой песни, и все слушали. Хоть и много глупостей я делал, а всё-таки я очень, очень хороший молодой человек», — думает он.

Утро застало Оленина на третьей станции. Он напился чаю, переложил с Ванюшей сам узлы и чемоданы и уселся между ними благоразумно, прямо и аккуратно, зная, где что у него находится, — где деньги и сколько их, где вид и подорожная и шоссейная расписка, — и всё это ему показалось так практично устроено, что стало весело, и дальная дорога представилась в виде продолжительной прогулки.

В продолжение утра и середины дня он весь был погружён в арифметические расчёты: сколько он проехал вёрст, сколько остаётся до первой станции, сколько до первого города, до обеда, до чая, до Ставрополя и какую часть всей дороги составляет проеханное. При этом он рассчитывал тоже: сколько у него денег, сколько останется, сколько нужно для уплаты всех долгов и какую часть всего дохода будет он проживать в месяц. К вечеру, напившись чаю, он рассчитывал, что до Ставрополя оставалось $\frac{7}{11}$ всей дороги, долгов оставалось всего

на семь месяцев экономии и на $\frac{1}{8}$ всего состояния,— и, успокоившись, он укутался, спустился в сани и снова задремал. Воображение его теперь уже было в будущем, на Кавказе. Все мечты о будущем соединялись с образами Амалатбеков, черкешенок, гор, обрывов, страшных потоков и опасностей. Всё это представляется смутно, неясно; но слава, заманивая, и смерть, угрожая, составляют интерес этого будущего. То с необычайною храбростью и удивляющею всех силой он убивает и покоряет бесчисленное множество горцев; то он сам горец и с ними вместе отстаивает против русских свою независимость. Как только представляются подробности, то в подробностях этих участвуют старые московские лица. Сашка Б*** тут вместе с русскими или с горцами воюет против него. Даже, неизвестно как, портной москё Капель принимает участие в торжестве победителя. Ежели при этом вспоминаются старые унижения, слабости, ошибки, то воспоминание о них только приятно. Ясно, что там, среди гор, потоков, черкешенок и опасностей, эти ошибки не могут повторяться. Уж раз исповёдался в них перед самим собою, и кончено. Есть ещё одна, самая дорогая мечта, которая примешивалась ко всякой мысли молодого человека о будущем. Это мечта о женщине. И там она, между гор, представляется воображению в виде черкешенки-рабыни, с стройным станом, длинною косою и покорными глубокими глазами. Ему представляется в горах уединённая хижина и у порога она, дожидаящаяся его в то время, как он, усталый, покрытый пылью, кровью, славой, возвращается к ней, и ему чуются её поцелуи, её плечи, её сладкий голос, её покорность. Она прелестна, но она необразованна, дика, груба. В длинные зимние вечера он начинает воспитывать её. Она умна, понятлива, даровита и быстро усваивает себе все необходимые знания. Отчего же? Она очень легко может выучить языки, читать произведения французской литературы, понимать их. *Notre Dame de Paris*¹, например, должно ей понравиться. Она может и говорить по-французски. В гостиной она может иметь больше природного достоинства, чем дама самого высшего общества. Она может петь, просто, сильно и страстно. «Ах, какой

¹ Собор Парижской богородицы.

взор!» — говорит он сам себе. А тут приехали на какую-то станцию и надо перелезать из саней в сани и давать на водку. Но он снова ищет воображением того вздора, который он оставил, и ему представляются опять черкешенки, слава, возвращение в Россию, флигель-адъютанство, прелестная жена. «Но ведь любви нет,— говорит он сам себе.— Почести — вздор. А шестьсот семьдесят восемь рублей?.. А завоеванный край, давший мне больше богатства, чем мне нужно на всю жизнь? Впрочем, нехорошо будет одному воспользоваться этим богатством. Нужно раздать его. Кому только? Шестьсот семьдесят восемь рублей Капелю, а там видно будет...» И уже совсем смутные видения застилают мысль, и только голос Ванюши и чувство прекращенного движения нарушают здоровый, молодой сон, и, сам не помня, перелезает он в другие сани на новой станции и едет далее.

На другое утро то же самое,— те же станции, те же чай, те же движущиеся крупы лошадей, те же короткие разговоры с Ванюшей, те же неясные мечты и дремоты по вечерам, и усталый, здоровый, молодой сон в продолжение ночи.

III

Чем дальше уезжал Оленин от центра России, тем дальше казались от него все его воспоминания, и чем ближе подъезжал к Кавказу, тем отраднее становилось ему на душе. «Уехать совсем и никогда не приезжать назад, не показываться в общество»,— приходило ему иногда в голову. «А эти люди, которых я здесь вижу,— не люди; никто из них меня не знает и никто никогда не может быть в Москве в том обществе, где я был, и узнать о моем прошлом. И никто из того общества не узнает, что я делал, живя между этими людьми». И совершенно новое для него чувство свободы от всего прошлого охватывало его между этими грубыми существами, которых он встречал по дороге и которых не признавал людьми наравне с своими московскими знакомыми. Чем грубее был народ, чем меньше было признаков цивилизации, тем свободнее он чувствовал себя. Ставрополь, чрез который он должен

был проезжать, огорчил его. Вывески, даже французские вывески, дамы в коляске, извозчики, стоявшие на площади, бульвар и господин в шинели и шляпе, проходивший по бульвару и оглядевший проезжих,—больно подействовали на него. «Может быть, эти люди знают кого-нибудь из моих знакомых»,— и ему опять вспомнились клуб, портной, карты, свет... От Ставрополя зато всё уже пошло удовлетворительно: дико и, сверх того, красиво и воинственно. И Оленину всё становилось веселее и веселее. Все казаки, ямщики, смотрители казались ему простыми существами, с которыми ему можно было просто шутить, беседовать, не соображая, кто к какому разряду принадлежит. Все принадлежали к роду человеческому, который был весь бессознательно мил Оленину, и все дружелюбно относились к нему.

Ещё в Земле Войска Донского переменяли сани на телегу; а за Ставрополем уже стало так тепло, что Оленин ехал без шубы. Была уже весна,—неожиданная, весёлая весна для Оленина. Ночью уже не пускали из станций и вечером говорили, что опасно. Ванюша стал потрушивать, и ружьё заряженное лежало на перекладной. Оленин стал ещё веселее. На одной станции смотритель рассказал недавно случившееся страшное убийство на дороге. Стали встречаться вооружённые люди. «Вот оно где начинается!» — говорил себе Оленин и всё ждал вида снеговых гор, про которые много говорили ему. Один раз, перед вечером, ногатец-ямщик плётью указал из-за туч на горы. Оленин с жадностью стал вглядываться, но было пасмурно и облака до половины застилали горы. Оленину виднелось что-то серое, белое, курчавое, и, как он ни старался, он не мог найти ничего хорошего в виде гор, про которые он столько читал и слышал. Он подумал, что горы и облака имеют совершенно одинаковый вид и что особенная красота снеговых гор, о которых ему толковали, есть такая же выдумка, как музыка Баха и любовь к женщине, в которые он не верил,— и он перестал дожидаться гор. Но на другой день, рано утром, он проснулся от свежести в своей перекладной и равнодушно взглянул направо. Утро было совершенно ясное. Вдруг он увидел — шагах в двадцати от себя, как ему показалось в первую минуту — чисто-белые громады с их нежными

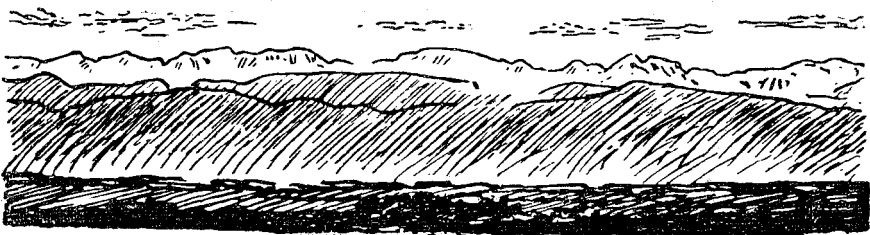
очертаниями и причудливую, отчетливую воздушную линию их вершин и далёкого неба. И когда он понял всю даль между ним и горами и небом, всю громадность гор, и когда почувствовалась ему вся бесконечность этой красоты, он испугался, что это призрак; сон. Он встряхнулся, чтобы проснуться. Горы были всё те же.

— Что это? Что это такое? — спросил он у ямщика.

— А горы, — отвечал равнодушно ноголец.

— И я тоже давно на них смотрю, — сказал Ванюша, — вот хорошо-то! Дома не поверят.

На быстром движении тройки по ровной дороге горы, казалось, бежали по горизонту, блестя на восходящем солнце своими розоватыми вершинами. Сначала горы только удивили Оленина, потом обрадовали; но потом, больше и больше глядя в эту, не из других чёрных гор, но прямо из степей вырастающую и убегающую цепь снеговых гор, он мало-помалу начал вникать в эту красоту и *почувствовал* горы. С этой минуты всё, что только он видел, всё, что он думал, всё, что он чувствовал, получало для него новый, строго величавый характер гор. Все московские воспоминания, стыд и раскаяние, все пошлые мечты о Кавказе, все исчезли и не возвращались более. «Теперь началось», — как будто сказал ему какой-то торжественный голос. И дорога, и вдали видневшаяся черта Терека, и станицы, и народ, — всё это ему казалось теперь уже не шуткой. Взглянет на небо — и вспомнит горы. Взглянет на себя, на Ванюшу — и опять горы. Вот едут два казака верхом, и ружья в чехлах равномерно поматываются у них за спинами, а лошади их перемешиваются гнедыми и серыми ногами, а



гóры... За Тéreком виден дым в аúле *¹, а гóры... Сóлнце всхóдит и блещет на виднеющемся из-за камышá Тéreке, а гóры... Из станицы едет арбá, жéнщины хóдят, красíвые жéнщины, молодые, а гóры... Абрéки рыскают в степи, и я еду, их не боюсь, у меня ружьё и сила, и мóлодость, а гóры...

IV

Вся часть Тёрской линии, по котóрой расположены гребенские станицы, óколо 80 вёрст длинны, нóсит на себé одинаковый характер и по мéстности, и по населéнию. Тéreк, отделяющий казáков от гóрцев, течёт мúтно и бýстро, но ужé широко и спокойно, постоянно нанося серовáтый песок на нízкий, зарóсший камышом правый бéрег и подмывáя обрýвистый, хотя и не высóкий лéвый бéрег с его корня́ми столéтних дубов, гниющих чина́р и молодóго подро́ста. По правому бéрегу расположены мирные, но ещё беспокойные аúлы; вдоль по лéвому бéрегу, в полуверсте от воды, на расстоянии семí и восьми вёрст одна от другóй, расположены станицы. В старину бóльшая часть эт́их станиц б́ыли на сáмом берегу; но Тéreк, кáждый год отклоняясь к сéверу от гор, подмы́л их, и тепёрь видны тóлько гúсто-зарóсшие стáрые городи́ща, сады, гру́ши, лычи́ * и райны *, переплетённые ежеви́чником и одичáвшим виноградником. Никтó ужé не живёт там, и тóлько видны по песку следы́ олéней, бирюков², зáйцев и фазáнов, полюбивших эти мeста́. От станицы до станицы идёт дорóга, прорубленная в лесу́ на пúшечный вы́стрел. По дорóге расположены кордо́ны, в котóрых стоят казáки; мéжду кордо́нами, на вы́шках, находятся часовые. Тóлько узкая, сажéней в триста, полосá лесистой плодородной земли́ составляет владéния казáков. На сéвер от них начина́ются песча́ные буруны́ Нога́йской и́ли Моздо́кской стéпи, идущей далекó на сéвер и сливáющейсá бог знаёт где с Трухмéнскими, Астраха́нскими и Киргíз-Кайса́цкими степя́ми. На юг за Тéreком — Большая́ Чечня́, Кочкалы́-

¹ Слова́, помеченные звёздочкой, объяснены́ в концé кни́ги.

² Волкóв. (Прим. Л. Н. Толстóго.)

ковский хребёт, Чёрные горы, ещё какой-то хребёт и наконец снежные горы, которые только видны, но в которых никто никогда ещё не был. На этой-то плодородной, лесистой и богатой растительностью полосе живёт с незапамятных времён воинственное, красивое и богатое старовёрческое русское население, называемое гребенскими казаками.

Очень, очень давно предки их, старовёры, бежали из России и поселились за Тереком, между чеченцами на Гребне, первом хребте лесистых гор Большой Чечни. Живя между чеченцами, казаки перероднились с ними и усвоили себе обычаи, образ жизни и нравы горцев; но удержали и там, во всей прежней чистоте, русский язык и старую веру. Предание, ещё до сих пор свежее между казаками, говорит, что царь Иван Грозный приезжал на Терек, вызывал с Гребня к своему лицу стариков, дарил им землю по сю сторону реки, увещевал жить в дружбе и обещал не принуждать их ни к подданству, ни к перемене веры. Ещё до сих пор казацкие роды считаются родством с чеченскими, и любовь к свободе, праздности, грабежу и войне составляют главные черты их характера. Влияние России выражается только с невыгодной стороны стеснением в выборах, снятием колоколов и войсками, которые стоят и проходят там. Казак, по влечению, менее ненавидит джигита-горца, который убил его брата, чем солдата, который стоит у него, чтобы защищать его станицу, но который закурил табаком его хату. Он уважает врага-горца, но презирает чужого для него и угнетателя солдата. Собственно русский мужик для казака есть какое-то чуждое, дикое и презренное существо, которого образчик он видал в заходящих торгашах и переселенцах малороссиянах, которых казаки презрительно называют шаповалами. Щегольство в одежде состоит в подражании черкёсу. Лучшее оружие добывается от горца, лучшие лошади покупаются и крадутся у них же. Молодец-казак щеголяет знанием татарского языка и, разгулявшись, даже с своим братом говорит по-татарски. Несмотря на то, этот христианский народец, закинутый в уголок земли, окруженный полудикими магометанскими племенами и солдатами, считает себя на высокой степени развития и признаёт человеком только одного казака; на всё же остальное смотрит с презрением. Казак

большую часть времени проводит на кордонах, в походах, на охоте или рыбной ловле. Он почти никогда не работает дома. Пребывание его в станице есть исключение из правила, и тогда он гуляет. Вино у казаков у всех своё, и пьянство есть не столько общая всем склонность, сколько обряд, неисполнение которого сочлось бы за отступничество. На женщину казак смотрит как на орудие своего благосостояния; девочке только позволяет гулять, бабу же заставляет с молодости до глубокой старости работать для себя, и смотрит на женщину с восточным требованием покорности и труда. Вследствие такого взгляда женщина, усиленно развиваясь и физически и нравственно, хотя и покоряясь наружно, получает, как вообще на Востоке, без сравнения большее, чем на Западе, влияние и вес в домашнем быту. Удаление её от общественной жизни и привычка к мужской тяжёлой работе дают ей тем больший вес и силу в домашнем быту. Казак, который при посторонних считает неприличным ласково или пряздно говорить с своєю бабой, невольно чувствует её превосходство, оставаясь с ней с глазу на глаз. Весь дом, всё имущество, всё хозяйство приобретено ею и держится только её трудами и заботами. Хотя он и твёрдо убеждён, что труд постыден для казака и приличен только работнику-ногайцу и женщине, он смутно чувствует, что всё, чем он пользуется и называет своим, есть произведение этого труда, и что во власти женщины, матери или жены, которую он считает своєю холопкой, лишить его всего, чем он пользуется. Кроме того, постоянный мужской, тяжёлый труд и заботы, переданные ей на руки, дали особенно самостоятельный мужественный характер гребенской женщине и поразительно развили в ней физическую силу, здравый смысл, решительность и стойкость характера. Женщины большею частью и сильнее, и умнее, и развитее, и красивее казаков. Красота гребенской женщины особенно поразительна соединением самого чистого типа черкесского лица с широким и могучим сложением северной женщины. Казачки носят одежду черкесскую: татарскую рубаху, бешмет * и чувяки ¹; но платки завязывают по-русски. Щегольство, чистота и изящество в одежде

¹ Чувяки — обувь. (Прим. Л. Н. Толстого.)



и убранстве хат составляють привычку и необходимость их жизни. В отношениях к мужчинам женщины, и особенно дѣвки, пользуются совершенною свободой. Станица Новомлинская считалась корнем гребенского казачества. В ней, более чем в других, сохранились нравы старых гребенцов, и женщины этой станицы и стари славились своею красотой по всему Кавказу. Средства жизни казаков составляют виноградные и фруктовые сады, бахчи с арбузами и тыквами, рыбная ловля, охота, посевы кукурузы и проса и военная добыча.

Новомлинская станица стоит в трех верстах от Терека, отделяясь от него густым лесом. С одной стороны дороги, проходящей через станицу, — река, с другой — зеленеют виноградные, фруктовые сады и виднеются песчаные буруны (наносные пески) Ногайской степи. Станица обнесена земляным валом и колючим терновником. Выезжают из станицы и въезжают в нее высокими на столбах воротами с небольшою крытою камышом крышкою, около которых стоит на деревянном лафете пушка, уродливая, сто лет не стрелявшая, когда-то отбитая казаками. Казак в форме, в шапке и ружье, иногда стоит, иногда не стоит на часах у ворот; иногда делает, иногда не делает фронт проходящему офицеру. Под крышкою ворот на белой дощечке черною краской написано: домов 266, мужского пола душ 897, женского пола 1012. Дома казаков все подняты на столбах от земли на аршин и более, опрятно покрыты камышом, с высокими князьками. Все — ежели не новы, то пря-

мы, чисты, с разнообразными высокими крылечками и не прилеплены друг к другу, а просторно и живописно расположены широкими улицами и переулками. Перед светлыми, большими окнами многих домов, за огородами, поднимаются выше хат темно-зелёные райны, нежные светлолиственные акации с белыми душистыми цветами, и тут же нагло блестящие жёлтые подсолнухи и вызревающие лозы травянок * и винограда. На широкой площади виднеются три лавочки с красным товаром, семечком, стручками и пряниками, и за высокой оградой, из-за ряда старых раин, виднеется, длиннее и выше всех других, дом полкового командира со створчатыми окнами. Народа, особенно летом, всегда мало виднеется в будни по улицам станции. Казаки на службе: на кордонах и в походе; старики на охоте, рыбной ловле или с бабами на работе в садах и огородах. Только совсем старые, малые и больные остаются дома.

V

Был тот особенный вечер, какой бывает на Кавказе. Солнце зашло за горы, но было ещё светло. Заря охватила треть неба, и на свете заря резко отделялись бело-матовые громады гор. Воздух был редок, неподвижен и звучен. Длинная, в несколько вёрст, тень ложилась от гор на степи. В степи, за рекой, по дорогам, везде было пусто. Ежели редко-редко где покажутся верховые, то уже казаки с кордона и чеченцы из аула с удивлением и любопытством смотрят на верховых и стараются догадаться, кто могут быть эти недобрые люди. Как вечер, так люди из страха друг перед другом жмутся к жильям, и только зверь и птица, не боясь человека, свободно рыщут по этой пустыне. Из садов спешат с весёлым говором до захождения солнца казачки, привязывавшие плети. И в садах становится пусто, как и во всей окрестности; но станция в эту пору вечера особенно оживляется. Со всех сторон подвигается пешком, верхом и на скрипучих арбах народ к станции. Девки в подоткнутых рубашках, с хворостинами, весело болтая, бегут к воротам навстречу скотине, которая толпится в облаке пыли и комаров, приведённых ею за собой из степи. Сытые ко-

рoвы и буйволицы разбрeдaются по улiцам, и казaчки в цветных бeшмeтах снуют мeжду ними. Слышeн их рeзкий гoвор, весeлый смeх и визги, перебивaемые рeвом скoтины. Там казaк в oружии, верхoм, выпросившийся с кордoна, подъeзжaет к хaте и, перегибaясь к окну, постукивает в него, и вслeд за стукoм показывается красивая молодaя гoлова казaчки и слышатся улыбающиеся, ласковые рeчи. Там скуластый обoрванный рабoтник ногaец, приехав с камышoм из стeпи, поворачивает скрипящую арбу на чистoм ширoком двoрe есаула*, и скидaет ярмo с мoтающих гoловами быкoв, и перекликается по-татарски с хoзяином. Oколо лужи, занимающей почти всю улицу и мимо кoтoрой стoлько лет проходят люди, с трудoм лепясь по забoрам, пробирается бoсая казaчка с вязанкoй дров за спиной, высоко поднимая рубaху над бeлыми ногaми, и возвращающийся казaк oхoтник шутя кричит: «Выше подними, срамница», — и целится в неё, и казaчка опускает рубaху и роняет дрова. Старик казaк с засученными штанами и раскрытoю седoю гpyдьo, возвращаясь с рьбной лoвли, несёт чeрез плeчo в сапeтке¹ ещё бьющихся серебристых шамaек и, чтоб ближе пройти, лeзет чeрез проломанный забoр сосeда и отдирает от забoра зацепившийся зипун. Там баба тaщит сухой сук, и слышатся удары топора за углoм. Визжaт казачата, гоняющие кубари на улiцах вездe, где вышло ровное мeсто. Чeрез забoры, чтобы не обходить, перелезaют бабы. Изo всех труб поднимается душистый дым кизьяка. На кaждом двoрe слышится усилeнная хлопотня, предшествующая тишинe нoчи.

Бабyка Улитка, женa хорунжего* и школьного учителя, так же как и другие, вышла к вoрoтам своего двoра и ожидaет скoтину, кoтoрую по улице гонит её дeвка Марьянка. Она не успела ещё отворить плeтня, как громадная буйволица, провожаемая комарами, мыча проламывается сквозь вoрoта; за ней мeдленно идyт сытые корoвы, большими глазами признавая хoзяйку и хвостoм мeрно хлеща себя по бoкам. Стрoйная красавица Марьянка проходит в вoрoта и, бросая хворостину, закидывает плeтeнь и со всех рeзвых ног бросается разбивать

¹ Намeтка. (Прим. Л. Н. Толстого.)



и загонять на дворé скотину. «Разуйся, чёртова дёвка, — кричит мать: — чувяки-то все истоптала». Марьяна нисколько не оскорбляется назв́анием чёртовой дёвки и принимает э́ти слова за ласку и вёсело продолжает своё дёло. Лицо Марьяны закрыто обвя́занным платко́м; на ней ро́зовая руба́ха и зелёный бешме́т. Она́ скрывает́ся под навёсом двора́ вслед за жирною крупною скоти́ной, и то́лько слы́шится из кле́ти её го́лос, не́жно уговáривающий буйволицу: «Не посто́йт! Эка ты! Ну тебя́, ну, ма́тушка!..» Вскóре приходит дёвка с стару́хой из заку́ты в *избу́шку*¹, и обе несúт два больш́ие горшкá молока́ — подóй ны́нешнего дня. Из гли́няной трубы́ *избу́шки* скóро поднимáется дым кизья́кá, молоко́ передёльвается в кайма́к*, дёвка разжигáет о́гонь, а стару́ха выхóдит к ворóтам. Сумерки охватили́ ужé станицу́. По все́му вóздуху разлит́ запа́х ово́ща,

¹ Избу́шкой у каза́ков назывáется низенький холо́дный срубец, где кипятится и сберега́ется молóчный скоп. (Прим. Л. Н. Толсто́го.)

скотины и душистого дыма кизняка. У ворот и по улицам вездѣ перебегают казачки, несущие в руках зажжённые тряпки. На дворѣ слышно пытенье и спокойная жвачка опроставшейся скотины, и только женские и детские голоса перекликаются по дворам и улицам. В будни рѣдко когда слышится мужской пьяный голос.

Одна из казачек, старая, высокая, мужественная женщина, с противоположного двора подходит к бабуке Улитке просить огня; в руке у неё тряпка.

— Что, бабука, убралась? — говорит она.

— Дѣвка топит. Аль огоньку надо? — говорит бабука Улитка, гордая тем, что может услужить.

Обе казачки идут в хату; грубые руки, не привыкшие к мелким предметам, с дрожанием сдирают крышку с драгоценной коробочки со спичками, которые составляют рѣдкость на Кавказе. Пришедшая мужественная казачка садится на приступок с очевидным намерением поболтать.

— Что твой-то, мать, в школе? — спрашивает пришедшая.

— Все ребят учит, мать. Писал, к празднику будет, — говорит хорунжика.

— Человек умный ведь; в пользу все.

— Известно, в пользу.

— А мой Лукаша на кордоне, а домой не пускают, — говорит пришедшая, несмотря на то, что хорунжика давно это знает. Ей нужно поговорить про своего Лукашу, которого она только собрала в казаки и которого она хочет женить на Марьяне, хорунжевой дочери.

— На кордоне и стоит?

— Стоит, мать. С праздника не бывал. Намедни с Фомушкиным рубахи послала. Говорит: ничего, начальство одобряет. У них, баит, опять абреков ищут. Лукаша, говорит, весел, ничего.

— Ну и слава богу, — говорит хорунжика. — Урван — одно слово.

Лукашка прозван *Урваном* за молодечество, за то, что казачонка вытащил из воды, *урвал*. И хорунжика помянула про это, чтобы с своей стороны сказать приятное Лукашкиной матери.

— Благодарю бога, мать, сын хороший; молодец, все одобряют,— говорит Лукашкина мать.— Только бы женить его, и померла бы спокойно.

— Что ж, девок мало ли по станции? — отвечает хитрая хорунжиха, корявыми руками старательно надевая крышку на коробочку со спичками.

— Много, мать, много,— замечает Лукашкина мать и качает головой.— Твоя девушка, Марьянушка-то, твоя вот девушка, так по полку поискать.

Хорунжиха знает намерение Лукашкиной матери, и хотя Лукашка ей кажется хорошим казаком, она отклоняется от этого разговора, во-первых, потому, что она — хорунжиха и богачка, а Лукашка — сын простого казака, сирота. Во-вторых, потому, что не хочется ей скоро расстаться с дочерью. Главное же потому, что приличие того требует.

— Что ж, Марьянушка подрастет, также девушка будет,— говорит она сдержанно и скромно.

— Пришлю сватов, пришлю, дай сады уберем, твоей милости кланяться придём,— говорит Лукашкина мать.— Ильё Васильевичу кланяться придём.

— Что Илья! — гордо говорит хорунжиха,— со мной говорить надо. На всё своё время.

Лукашкина мать по строгому лицу хорунжихи видит, что дальше говорить неудобно, зажигает спичкой тряпку и, приподнимаясь, говорит: — Не оставь, мать, помни эти слова. Пойду, топить надо,— прибавляет она.

Переходя через улицу и размахивая в вытянутой руке зажжённую тряпку, она встречает Марьянку, которая кланяется ей.

«Крота девушка, работница девушка,— думает она, глядя на красавицу.— Куда ей расти! Замуж поря, да в хороший дом, замуж за Лукашку».

У бабуки же Улитки своя забота, и она как сидела на пороге, так и остаётся, и о чём-то трудно думает, до тех пор пока девушка не позвала её.

Мужское население станицы живёт в походах и на кордонах, или постах, как называют казаки. Тот самый Лукашка-Урван, про которого говорили старухи в станице, перед вечером, стоял на вышке Нижне-Протоцкого поста. Нижне-Протоцкий пост — на самом берегу Терека. Облокотившись на перильцы вышки, он щурясь поглядывал то на даль за Теремом, то вниз на товарищей казаков и изредка заговаривал с ними. Солнце уже приближалось к снеговому хребту, белёвому над курчавыми облаками. Облака, волнуясь у его подошвы, принимали более и более тёмные тени. В воздухе разливалась вечерняя прозрачность. Из заросшего дикого леса тянуло свежестью, но около поста ещё было жарко. Голоса разговаривавших казаков звучнее раздавались и стояли в воздухе. Коричневый быстрый Терек отчётливей отделялся от неподвижных берегов всею своею подвигающеюся массой. Он начинал сбывать, и кое-где мокрый песок бурел на берегах и на отмелях. Прямо против кордона, на том берегу, всё было пусто; только низкие бесконечные и пустынные камыши тянулись до самых гор. Немного в стороне виднелись на низком берегу глиняные дома, плоские крыши и воронкообразные трубы чеченского аула. Зоркие глаза казака, стоявшего на вышке, следили в вечернем дыму мирного аула за движущимися фигурами издали видневшихся чеченок в синих и красных одеждах.

Несмотря на то, что казаки каждый час ожидали переправы и нападения *абреков*¹ с татарской стороны, особенно в мае месяце, когда лес по Тереку так густ, что пешему трудно пролезть через него, а река так мелка, что кое-где можно переезжать её вброд, и несмотря на то, что дня два тому назад *прибегал*² от полкового командира казак с *цидулкой*³, в которой

¹ Абреком называется немирной чеченец, с целью воровства или грабежа переправившийся на русскую сторону Терека. (Прим. Л. Н. Толстого.)

² Прибегал, значит на казачьем наречье приезжал верхом. (Прим. Л. Н. Толстого.)

³ Цидулой называется циркуляр, рассылаемый по постам. (Прим. Л. Н. Толстого.)

зна́чилось, что, по полу́ченным чрез лазу́тчиков свѣдѣніям, па́ртия в во́семь человекъ на́мерена перепра́виться че́рез Тѣрек, и потому́ предп́исывается наблю́дять о́собую о́сторожность,—на кордо́не не соблю́далось о́собенной о́сторожности. Каза́ки, как до́ма, без осѣдланных лошаде́й, без ору́жия, занима́лись кто ры́бною лóблей, кто пьянством, кто охóтой. То́лько ло́шадь де-жу́рного осѣдланная ходи́ла в тренóге по тѣрнам * о́коло лѣса, и то́лько часово́й каза́к был в черкѣске, ружье́ и ша́шке. Уря́дник, вы́сокий худоща́вый каза́к, с чрезвычайно́ дли́нною спи-но́й и ма́ленькими нога́ми и рука́ми, в одно́м рассте́гнутом бешме́те сидѣл на зава́лине избу́ и с выраже́нием нача́льниче-ской лѣни и ску́ки, закрыв гла́за, перева́ливал го́лову с руки́ на́ руку. Пожилóй каза́к с широ́кою, седова́тою, чѣрною боро-до́й, в одно́й подпоясанной чѣрным ремне́м руба́хе, лежа́л у са́мой воды и лени́во смотре́л на однообра́зный, бурли́вший и заворачива́ющий Тѣрек. Другіе, та́кже измученные жа́ром, полуразде́тые, кто полоска́л бельѣ в Тѣреке, кто вяза́л узде́чку, кто лежа́л на земле́, мурлы́кая пѣсню, на горя́чем песке́ бе́рега. Оди́н из каза́ков с худы́м и чѣрно-загоре́лым лицóм, види-мо мертве́чки пьяны́й, лежа́л на́взничь у одно́й из стен избу́, часа́ два тому́ наза́д бы́вшей в тенѣ, но на кото́рую тепе́рь пря́мо па́дали жгу́чие косы́е лучи́.

Лука́шка, стоя́вший на вы́шке, был вы́сокий, краси́вый ма́лый, лет двадцати́, о́чень похóжий на мать. Лицо́ и всё сложе́ние его́, несмотря́ на угловато́сть мо́лодости, выража́ли боль-шу́ю физическую́ и нра́вственную си́лу. Несмотря́ на то, что он неда́вно был *собра́н* в строевы́е, по широ́кому выраже́нию его́ лица́ и споко́йной уве́ренности по́зы ви́дно бы́ло, что он уже́ успѣл приня́ть сво́йственную каза́кам и вооб́ще лю́дям, постóянно нося́щим ору́жие, воинственную́ и не́сколько го́рдую осан-ку, что он каза́к и зна́ет себе́ це́ну не ни́же настоя́щей. Широ́кая черкѣска была́ кое-гдѣ по́рвана, ша́пка была́ залóмлена наза́д по-чечѣнски, ногови́цы * спу́щены ни́же колѣн. Оде́жда его́ была́ небога́тая, но она́ сидѣла на нём с то́ю о́собою каза́ц-кою щеголева́тостью, кото́рая состоит в подража́нии чечѣнским джиги́там *. На настоя́щем джиги́те всё всегда́ широко́, обо́рвано, небре́жно; одно́ ору́жие бога́то. Но на́де́то, подпоясано́ и при́гнуто э́то обо́рванное пла́тье и ору́жие одні́м изве́стным

образом, который даётся не каждому и который сразу бросается в глаза казаку или горцу. Лукашка имел этот вид джигита. Заложив руки за шашку и щуря глаза, он всё вглядывался в дальний аул. Порознь черты лица его были нехороши, но, взглянув сразу на его статное сложение и черноброе умное лицо, всякий невольно сказал бы: «Молодец малый!»

— Баб-то, баб-то в ауле что высыпало! — сказал он резким голосом, лениво раскрывая яркие белые зубы и не обращаясь ни к кому в особенности.

Назарка, лежавший внизу, тотчас же торопливо поднял голову и заметил:

— За водой, должно, идут.

— Из ружья бы пугнуть, — сказал Лукашка, посмеиваясь, — то-то бы переполошились!

— Не донесёт.

— Вона! Моё через перенесёт. Вот дай срок, их праздник будет, пойду к Гирей-хану в гости, бузу¹ пить, — сказал Лукашка, сердито отмахиваясь от липнувших к нему комаров.

Шорох в чаще обратил внимание казаков. Пёстрый легавый ублюдок, отыскивая след и усиленно махая облезлым хвостом, подбегал к кордону. Лукашка узнал собаку соседа охотника, дяди Ерошки, и вслед за ней разглядел в чаще подвигавшуюся фигуру самого охотника.

Дядя Ерошка был огромного роста казак, с седою как лунь широкою бородой и такими широкими плечами и грудью, что в лесу, где не с кем было сравнить его, он казался невысоким: так соразмерны были все его сильные члены. На нём был оборванный подоткнутый зипун, на ногах обвязанные верёвочками по онучам * олёньи *пориши*² и растрёпанная белая шапочка. За спиной он нес чрез одно плечо *кобылку*³ и мешок с курочкой и копчиком для приманки ястреба; чрез другое плечо он нес на ремне дикую убитую кошку; на спине за поясом заткнуты были мешочек с пулями, пороховом и хлебом, конский

¹ Татарское пиво из пшенá. (Прим. Л. Н. Толстого.)

² Обувь из невыделанной кожи, надеваемая только размо́ченная. (Прим. Л. Н. Толстого.)

³ Орудие для того, чтобы подкрадываться под фазанов. (Прим. Л. Н. Толстого.)



хвост, чтобы отмахиваться от комаров, большой кинжал с прорванными ножами, испачканными старою кровью, и два убитые фазана. Взглянув на кордон, он остановился.

— Гей, Лям! — крикнул он на собаку таким залившимся басом, что далеко в лесу отозвалось эхо, и, перекинув на плечо огромное пистонное ружье, называемое у казаков *флинттой*, приподнял шапку.

— Здорово дневали, добрые люди! Гей! — обратился он к казакам тем же сильным и веселым голосом, без всякого усилия, но так громко, как будто кричал кому-нибудь на другую сторону реки.

— Здорово, дядя! Здорово! — весело отозвались с разных сторон молодые голоса казаков.

— Что видали? Сказывай! — прокричал дядя Ерощка, отирая рукавом черкески пот с красного широкого лица.

— Слышь, дядя! Какой ястреб во тут на чинаре живёт! Как вечер, так и вьётся, — сказал Назарка, подмигивая глазом и подёргивая плечом и ногою.

— Ну, ты! — недоверчиво сказал старик.

— Право, дядя, ты *посиди*¹, — подтвердил Назарка, посмеиваясь.

Казаки засмеялись.

Шутник не видал никакого ястреба; но у молодых казаков на кордоне давно вошло в обычай дразнить и обманывать дядю Ерощку всякий раз, как он приходил к ним.

— Э, дурак, только брехать! — проговорил Лукашка с вышки на Назарку.

Назарка тотчас же замолк.

— Надо *посидеть*. *Посижу*, — отозвался старик к великому удовольствию всех казаков. — А свиней видали?

— Легко ли! Свиней смотреть! — сказал урядник, очень довольный случаем развлечься, переваливаясь и обеими руками почёсывая свою длинную спину. — Тут абреков ловить, а не свиней надо. Ты ничего не слыхал, дядя, а? — прибавил он, без причины щурясь и открывая белые сплошные зубы.

— Абреков-то? — проговорил старик: — не, не слыхал.

¹ Посидеть — значит караулить зверя. (Прим. Л. Н. Толстого.)

А что чихирь* есть? Дай испить, добрый человек. Измаялся, право. Я тебе, вот дай срок, свежинки принесу, право, принесу. Поднеси,— прибавил он.

— Ты что ж *посидеть*, что ли, хочешь? — спросил урядник, как будто не расслышав, что сказал тот.

— Хотел ночью *посидеть*,— отвечал дядя Ерощка: — може к празднику и даст бог, *замордую* что; тогда и тебе дам, право!

— Дядя! Ау! Дядя! — резко крикнул сверху Лука, обращая на себя внимание, и все казаки оглянулись на Лукашку.— Ты к верхнему протоку сходи, там табун важный ходит. Я не вру. Пра! Намедни наш казак одного стрелил. Правду говорю,— прибавил он, поправляя за спиной винтовку и таким голосом, что видно было, что он не смеется.

— Э, Лукашка-Урван здесь! — сказал старик, взглядывая кверху.— Кое место стрелил?

— А ты и не видал! Маленький, видно,— сказал Лукашка.— У самой у канавы, дядя,— прибавил он серьезно, встряхивая головой.— Шли мы так-то по канаве, как он затрещит, а у меня ружье в чехле было. Иляска как *лопнет*...¹ Да и тебе покажу, дядя, кое место,— недалече. Вот дай срок. Я, брат, все его дорожки знаю. Дядя Мосев! — прибавил он решительно и почти повелительно уряднику: — пора сменять! — и, подобрав ружье, не дожидаясь приказанья, стал сходить с вышки.

— Сходи! — сказал уже после урядник, оглядываясь вокруг себя.— Твой часы, что ли, Гурка? Иди! И то лóвок стал Лукашка твой,— прибавил урядник, обращаясь к старику.— Всё как ты ходит, дома не посидит; намедни убил одного.

VII

Солнце уже скрылось, и ночные тени быстро надвигались со стороны леса. Казаки кончили свои занятия около кордона и собрались к ужину в избу. Только старик, всё ещё ожидая

¹ Л ó п н е т — выстрелит на казачьем языке. (Прим. Л. Н. Толстого.)

ястреба и подёргивая привязанного за ногу кóпчика, оставáлся под чина́рой. Ястреб сидёл на дёреве, но не спуска́лся на кúрочку. Лука́шка неторопливо ула́живал в са́мой ча́ще тёрном *, на фазáньей трóпке, пётли для лóвли фазáнов и пел одну́ пёсню за друго́ю. Несмотря на вы́сокий рост и больш́ие рúки, ви́дно бýло, что вся́кая рабóта, крупна́я и ме́лкая, спори́лась в руках Лука́шки.

— Гей, Лука́! — слы́шался ему́ недалеко́ из ча́щи пронзительно-звучный́ го́лос Назáрки.— Каза́ки у́жинать пошли́.

Наза́рка с живы́м фазáном под мышко́й, продира́ясь че́рез тёрны, вы́лез на тропи́нку.

— О! — сказа́л Лука́шка замолка́я: — где петуха́-то взял? Должно́ мой дружо́к...¹

Наза́рка был одних́ лет с Лука́шкой и то́же с весны́ то́лько поступи́л в строевы́е.

Он был ма́лый некраси́вый, ху́денький, мозгля́вый, с визгли́вым го́лосом, кото́рый так и звенёл в уша́х. Они́ бýли сосе́ди и това́рищи с Лукóю. Лука́шка сидёл по-татáрски на траве́ и ула́живал пётли.

— Не зна́ю чей. Должно́, твой.

— За я́мой, что ль, у чина́ры? Мой и есть, вчера́ постави́л.

Лука́шка встал и посмотре́л пойманного́ фазáна. Погла́див руко́й по тёмно-си́зой голо́ве, кото́рую петух испу́ганно вытя́гивал, зака́тывая глаза́, он взял его́ в рúки.

— Ны́нче пи́лав сде́лаем; ты поди́ заре́жь да ощи́пи.

— Что ж, са́ми съеди́м, и́ли уря́днику отда́ть?

— Бúдет с него́.

— Бою́сь я их ре́зать,— сказа́л Назáрка.

— Дава́й сюда́.

Лука́шка доста́л но́жичек из-под кинжа́ла и бы́стро дёрнул им. Петух встрепену́лся, но не успе́л распра́вить кры́лья, как уже́ окрова́вленная голо́ва загну́лась и заби́лась.

— Вот та́к-то де́лай! — проговори́л Лука́шка, броса́я петуха́.— Жи́рный пи́лав бúдет.

Наза́рка вздро́гнул, гля́дя на петуха́.

¹ Силки́, кото́рые ста́вят для лóвли фазáнов, (Прим. Л. Н. Толсто́го.)

— А слышь, Лукá, опять нас в *секрёт* пошлёт чёрт-то,— прибáвил он, поднимáя фазáна и под чёртом разумéя урядника.— Фóмушкина за чихирём услáл, егó черёд был. Котóру ночь хóдим! Тóлько на нас и выезжáет.

Лукáшка посвístывая пошёл по кордóну.

— Захватí бечёвку-то! — крикнул он.

Назárка повиновáлся.

— Я ему нынче скажý, прáво, скажý,— продолжáл Назárка.— Скáжем, не пойдём, измúчились, да и всё тут. Скажí, прáво, он тебя послушает. А то что это!

— Во нашёл о чём толковáть! — сказáл Лукáшка, вídимо думая о другóм: — дряни-то! Добрó бы из стáницы на ночь выгонял, обíдно бы бы́ло. Там погуляешь, а тут что? Что на кордóне, что в секрéте, всё однó. Эка ты!..

— А в стáницу придёшь?

— На прáздник пойду́.

— Скáзывал Гýрка, твоя́ Дунáйка с Фóмушкиным гуляет,— вдруг сказáл Назárка.

— А чёрт с ней! — отвечáл Лукáшка, оскáливая сплошны́е бёлые зúбы, но не смеясь.— Рáзве я другóй не найду́.

— Как скáзывал Гýрка-то: пришёл, говорít, он к ней, а мýжа нет. Фóмушкин сидít, пирóг ест. Он посидёл, да и пошёл; под окнóм, слышит, она́ и говорít: «Ушёл чёрт-то. Что, родно́й, пирожкá не ешь? А спать, говорít, домо́й не ходí». А он и говорít из-под окнá: «Слáвно».

— Врёшь!

— Прáво, ей-бóгу.

Лукáшка помолчáл.

— А другóго нашлá, чёрт с ней: дéвок máло ли? Она́ мне и то посты́ла.

— Вот ты чёрт како́й! — сказáл Назárка.— Ты бы к Марьянке хорúнжиной подбёхал. Что она́ ни с кем не гуляет?

Лукáшка нахму́рился.

— Что Марьянка! Всё однó! — сказáл он.

— Да вот сунься-ка...

— А ты что думаешь? Да máло ли их по стáнице?

И Лукáшка опять засвистáл и пошёл к кордóну, обрывáя листься с сучьев. Проходя́ по кустáм, он вдруг остановíлся, за-

мѣтив гладкое деревцо, вынул из-под кинжала ножик и вырезал.

— Тó-то шóмпол бóдет,— сказáл он, свистя́ в вóздухе прутóм.

Казáки сидѣли за ўжином в мáзанных сенях кордо́на, на земляно́м полу́, вокрúг нízкого татарского стóлика, когда́ речь зашла́ о чередѣ в *секрёт*.

— Кому́ ж ны́нче идтí? — крикнул одíн из казáков, обращая́сь к уряднику в отвóренную дверь хáты.

— Да кому́ идтí? — отозва́лся урядник.— Дядя Бурлáк ходил, Фóмушкин ходил,— сказáл он не совсѣм увѣренно.— Идите вы, что ли? Ты да Назáр,— обратíлся он к Лукé,— да Ергушóв пойдёт; авось проспáлся.

— Ты-то не просыпáешься, так ему́ как же! — сказáл Назáрка вполгóлоса.

Казáки засмеялись.

Ергушóв был тот сáмый казáк, котóрый пьяный спал у избы́. Он тóлько что, протирая́ глаза́, ввалился в сѣни.

Лукáшка в это́ время, встав, справля́л ружьё.

— Да скорей́ идите; поўжинайте и идите,— сказáл урядник. И, не ожидая́ выражения́ соглáсия, урядник затворил́ дверь, вíдимо мáло надеясь на послушáние казáков.— Кáбы не приказано́ было, я бы не послáл, а то, гляди́, сотник набѣжит. И то, говоря́т, вóсемь человек абрéков перепрáвилось.

— Что ж, идтí нáдо,— говори́л Ергушóв: — поря́док! Нельзя́, время́ тако́е. Я говори́ю, идтí нáдо.

Лукáшка мѣжду тем, держа́ обѣими рука́ми передо́ртом большо́й кусо́к фазáна и поглядывая́ то на урядника, то на Назáрку, казáлось, был совершенно́ равноду́шен к тому́, что происходи́ло, и смеялся над обѣими. Казáки ещё́ не успѣли убрáться в *секрёт*, когда́ дядя Ерóшка, до но́чи напрáсно просидѣвший под чинáрой, вошёл в тѣмные сѣни.

— Ну, ребята́,— загудел в нízких сенях его́ бас, покрывáвший все гóлоса́,— вот и я с ва́ми пойдú. Вы на чечѣнцев, а я на свиней́ *сидеть* бóду.

Было уже совсѣм темно, когда дядя Ерѡшка и трѡе казаков с кордо́на, в бѣурках и с рѣжьями за плеча́ми пошли вдоль по Тѣреку на мѣсто, назначенное для секретѡ. Назѡрка во́все не хотѣл идти́, но Лука́ крикнул на него́, и они́ живо собрались. Пройдя́ молча́ нѣсколько шаговъ, каза́ки сверну́ли с канавы́ и по чуть замѣтной тропи́нке в камыша́х подошли́ к Тѣреку. У бе́рега лежало́ то́лстое чѣрное бревно́, выкинутое водо́й, и камы́ш вокрѹг бревна́ был свежо́ примя́т.

— Здесь, что ль, сидѣть? — спросил Назѡрка.

— А то чего́ ж? — сказа́л Лука́шка: — садись́ здесь, а я живо́ приду́, то́лько дяде́ укажу́.

— Са́мое тут хоро́шее мѣсто: нас не видать, а нам видно́, — сказа́л Ергушо́в: — тут и сидѣть; са́мое пе́рвое мѣсто.

Назѡрка с Ергушо́вым, разостла́в бѣурки, расположи́лись за бревно́м, а Лука́шка поше́л да́льше с дядей Ерѡшкой.

— Вот тут недалече́, дядя, — сказа́л Лука́шка, неслы́шно ступа́я вперед старика́: — я укажу́, где прошли́. Я, брат, оди́н зна́ю.

— Ука́жь; ты молоде́ц, Урва́н, — так же шѣпотом отвѣчал старикъ.

Пройдя́ нѣсколько шаговъ, Лука́шка остано́вился, нагну́лся над лу́жицей и сви́стнул.

— Вот где пить́ прошли́, видишь, что ль? — чуть слы́шно сказа́л он, ука́зывая на све́жий след.

— Спаси́ тебя́ Христо́с, — отвѣчал старикъ: — *карга́* за канаво́й в *котлуба́ни*¹ бу́дет, — приба́вил он. — Я посижу́, а ты ступа́й.

Лука́шка вски́нул ви́ше бѣурку и оди́н поше́л наза́д по бе́регу, бы́стро погла́дывая то на́лево на стѣну камыше́й, то на Тѣрек, бурли́вший по́дле под бе́регом. «Ведь то́же кара́улитъ или ползе́т гдѣ-нибудь», — подумал он про чечѣнца. Вдруг си́льный шѡрох и плеска́нье в воде́ заста́вили его́ вздро́гнуть и схватиться́ за винто́вку. Из-под бе́рега, отдува́ясь, ви́скочил каба́н,

¹ Котлуба́ню называ́ется яма, иногда́ просто́ лужа, в кото́рой ма́жется каба́н, натира́я себе́ «калга́н», то́лстую хрящевату́ю шку́ру. (Прим. Л. Н. Толсто́го.)

и чёрная фигура, отделившись на мгновение от глянцевитой поверхности воды, скрылась в камышах. Лука быстро выхватил ружьё, приложился, но не успел выстрелить; кабан уже скрылся в чаще. Плюнув с досады, он пошёл дальше. Подходя к месту секрета, он снова приостановился и слегка свистнул. Свисток откликнулся, и он подошёл к товарищам.

Назарка, свернувшись, уже спал. Ергушов сидел, поджав под себя ноги, и немного посторонился, чтобы дать место Лукашке.

— Как сидеть весело, право, место хорошее, — сказал он. — Проводил?

— Указал, — отвечал Лукашка, расстилая бурку. — А сейчас какого здорового кабана у самой воды стронул. Должно, тот самый! Ты небось слышал, как затрещал?

— Слышал, как затрещал зверь, я сейчас узнал, что зверь. Так и думаю: Лукашка зверя спугнул, — сказал Ергушов, завёртываясь в бурку. — Я теперь засну, — прибавил он, — ты разбуди после петухов; потому, порядок надо. Я засну, поспим; а там ты заснёшь, я посижу... Так-то.

— Я и спать, спасибо, не хочу, — ответил Лукашка.

Ночь была тёмная, тёплая и безветренная. Только с одной стороны небосклона светились звёзды; другая и большая часть неба, от гор, была заволочена одною большою тучей. Чёрная туча, сливаясь с горами, без ветра, медленно подвигалась дальше и дальше, резко отделяясь своими изогнутыми краями от глубокого звёздного неба. Только впереди казаку виднелся Терек и даль; сзади и с боков его окружала стена камышей. Камыши изредка, как будто без причины, начинали колебаться и шуршать друг о друга. Снизу колеблющиеся махалки казались пушистыми ветвями деревьев на светлом краю неба. У самых ног спереди был берег, под которым бурлил поток. Дальше глянцевитая движущаяся масса коричневой воды однообразно рябила около отмелей и берега. Ещё дальше и вода, и берег, и туча — всё сливалось в непроницаемый мрак. По поверхности воды тянулись чёрные тени, которые привычный глаз казака признавал за проносимые сверху коряги. Только изредка зарница, отражаясь в воде, как в чёрном зеркале, обозначала черту противоположного отлогого берега.



Равномерные ночные звуки, шуршание камышин, храпение казаков, жужжание комаров и течение воды прерывались изредка то дальним выстрелом, то бульканьем отвалившегося берега, то всплеском большой рыбы, то треском зверя по дикому, заросшему лесу. Раз сова пролетела вдоль по Тереку, задевая ровно через два взмаха крылом о крыло. Над самую головой казаков она повернула к лесу и, подлетая к дереву, не через раз, а уже с каждым взмахом задевала крылом о крыло, и потом долго копошилась, усаживаясь на старой чинаре. При всяком таком неожиданном звуке слух не спавшего казака усиленно напрягался, глаза щурились и он неторопливо ощупывал винтовку.

Прошла большая часть ночи. Черная туча, протянувшись на запад, из-за своих разорванных краев открыла чистое звездное небо, и перевернутый золотистый рог месяца краснo засветился над горами. Стало прохватывать холодом. Назарка проснулся, поговорил и опять заснул. Лукашка соскучился, встал, достал ножик из-под кинжала и начал строгать палочку на шомпол. В голове его бродили мысли о том, как там в горах живут чеченцы, как ходят молодцы на эту сторону, как не боятся они казаков и как могут перебраться в другом месте. И он высовывался и глядел вдоль реки, но ничего не

было видно. Изредка поглядывая на реку и дальний берег, слабо отделившийся от воды при робком свете месяца, он уже перестал думать о чеченцах и только ждал времени будить товарищей и идти в станицу. В станице ему представлялась Дунька, его *дүшенька*, как называют казаки любовниц, и он с досадой думал о ней. Признаки утра: серебристый туман забелел над водой, и молодые орлы недалеко от него пронзительно засвистали и захлопали крыльями. Наконец вскрик первого петуха донёсся далеко из станицы, вслед за тем другой протяжный петуший крик, на который отозвались другие голоса.

«Пора будить», — подумал Лукашка, кончив шомпол и почувствовав, что глаза его отяжелели. Обернувшись к товарищам, он разглядел, кому какие принадлежали ноги; но вдруг ему показалось, что плеснуло что-то на той стороне Терека, и он ещё раз оглянулся на светлеющий горизонт гор под перевернутым серпом, на черту того берега, на Терек и на отчётливо видневшиеся теперь плывущие по нём карчи *. Ему показалось, что он движется, а Терек с карчами неподвижен; но это продолжалось только мгновение. Он опять стал вглядываться. Одна большая чёрная карча с суком особенно обратила его внимание. Как-то странно, не перекачиваясь и не крутясь, плыла эта карча по самой середине. Ему даже показалось, что она плыла не по течению, а перебивала Терек на отмель. Лукашка, вытянув шею, начал пристально следить за ней. Карча подплыла к мели, остановилась и странно зашевелилась. Лукашке замерещилось, что показалась рука из-под карчи. «Вот как абрека один убью!» — подумал он, схватился за ружьё, неторопливо, но быстро расставил подсошки *, положил на них ружьё, неслышно, придерживав, взвёл курок и, притавив дыхание, стал целиться, всё всматриваясь. «Будить не стану», — думал он. Однако сердце застучало у него в груди так сильно, что он остановился и прислушался. Карча вдруг бултыхнула и снова поплыла, перебивая воду, к нашему берегу. «Не пропустит бы!» — подумал он, и вот, при слабом свете месяца ему мелькнула татарская голова впереди карчи. Он навёл ружьём прямо на голову. Она ему показалась совсем близко, на конце ствола. Он глянул чёрез. «Он и есть, абрек», — подумал он радост-

но и, вдруг порывисто вскочив на колени, снова повёл ружьём, высмотрел цель, которая чуть виднелась на конце длинной винтовки, и, по казачьей, с детства усвоенной привычке, проговорив: «Отцу и сыну», — пожал шийщечку спуска. Блеснувшая молния на мгновение осветила камыши и воду. Резкий, отрывистый звук выстрела разнёсся по реке и где-то далеко перешёл в грохот. Карча уже поплыла не поперёк реки, а вниз по течению, крутясь и колыхаясь.

— Держи, я говорю! — кричал Ергушов, ощупывая винтовку и приподнимаясь из-за чурбана.

— Молчи, чёрт! — стиснув зубы, прошептал на него Лука.— Абреки!

— Кого стрелил? — спрашивал Назарка.— Кого стрелил, Лукашка?

Лукашка ничего не отвечал. Он заряжал ружьё и следил за плывающей карчой. Неподалёку остановилась она на отмели, и из-за неё показалось что-то большое, покачиваясь на воде.

— Чего стрелил? Что не скрываешь? — повторили казаки.

— Абреки! — скрывают тебе, — повторил Лука.

— Будет брехать-то! Али так вышло ружьё-то?

— Абрека убил! Вот что стрелил! — проговорил сорвавшимся от волнения голосом Лукашка, вскакивая на ноги.— Человек плыл... — сказал он, указывая на отмель.— Я его убил. Глянь-ка сюда.

— Будет врать-то, — повторял Ергушов, протирая глаза.

— Чего будет? Вот гляди! Гляди сюда, — сказал Лукашка, схватывая его за плеча и пригибая к себе с такою силой, что Ергушов охнул.

Ергушов посмотрел по тому направлению, куда указывал Лука, и, рассмотрев тело, вдруг переменял тон.

— Эна! Я тебе говорю, другие будут, верно тебе говорю, — сказал он тихо и стал осматривать ружьё.— Это передовой плыл; либо уж здесь, либо недалече на той стороне; я тебе верно говорю.

Лукашка распоясался и стал скидывать черкёску.

— Куда ты, дурак? — крикнул Ергушов.— Сунься только,

ни за что пропадёшь, я тебе верно говорю. Коли убил, не уйдёт. Дай натруску * порошку подсыпать. У тебя есть? Назар! ты ступай живо на кордон, да не по берегу ходи; убьют, верно говорю.

— Так я один и пошёл! Ступай сам,— сказал сердито Назарка.

Лукашка, сняв черкеску, подошёл к берегу.

— Не лязяй, говорят,— проговорил Ергушов, подсыпая порох на полку ружья.— Вишь, не шелохнётся, уж я вижу. До утра недалече, дай с кордона прибегут. Ступай, Назар. Эка робеешь! Не робей, я говорю.

— Лукá, а Лукá! — говорил Назарка,— да ты скажи, как убил.

Лукá раздумал тотчас же лезть в воду.

— Ступайте на кордон живо, а я посижу. Да казакам велите в разъезд послать. Коли на этой сторонé... ловить надо!

— Я говорю, уйдут,— сказал Ергушов, поднимаясь,— ловить надо, верно.

И Ергушов с Назаркой встали и, перекрестившись, пошли к кордону, но не берегом, а ломаясь через терны и пролезая на лесную дорожку.

— Ну, смотри, Лукá, не шелохнись,— проговорил Ергушов,— а то тоже здесь срежут тебя. Ты, смотри, не зевай, я говорю.

— Иди, знаю,— проговорил Лукá и, осмотрев ружье, сел опять за чурбан.

Лукáшка сидел один, смотрел на отмель и прислушивался, не слышать ли казаков; но до кордона было далеко, а его мучило нетерпенье; он так и думал, что вот уйдут те абреки, которые шли с убитым. Как на кабанá, который ушёл вечером, досадно было ему на абреков, которые уйдут теперь. Он поглядывал то вокруг себя, то на тот берег, ожидая вот-вот увидать ещё человека, и, приладив подсошки, готов был стрелять. О том, чтобы его убили, ему и в голову не приходило.

Ужé начинáло светáть. Всё чечёнское тѣло, останóвившееся и чуть полыхáвшееся на óтмели, бы́ло тепѣрь я́сно видно. Вдруг невдалекѣ от казáка затрещáл камыш, послышались шагí и зашевелились махáлки камышá. Казáк взвѣл на вторóй взвод и проговорíл: «Отцú и сы́ну». Вслед за щёлканьем куркá шагí затíхли.

— Гей, казáки! Дядю не убѣй,— послышался спокойный бас, и, раздвигáя камышí, дядя Ерóшка вплоть подошёл к нему́.

— Чуть-чуть не убíл тебá, ей-бóгу! — сказа́л Лукáшка.

— Что стрелíл? — спросíл старíк.

Звúчный гóлос старикá, раздавшийся в лесú и вниз по рекѣ, вдруг уничтожил ночнúю тишинú и таинственность, окружающую казáка. Как бúдто вдруг светлѣй и виднѣй стáло.

— Ты вот ничегó не видáл, дядя, а я убíл звѣря,— сказа́л Лукáшка, спуска́я курóк и вставáя неестѣственно спокойно.

Старíк, ужé не спуска́я с глаз, смотре́л на я́сно тепѣрь белѣвшуюся спи́ну, óколо котóрой рябил Тѣрек.

— С карчóй на спинѣ плыл. Я егó вíсмотрел, да как... Глянь-ко сюдá! Во! В порткáх сíних, ружьѣ никак... Видишь, что ль? — говорíл Лукá.

— Чегó не видáты! — с сѣрдцем сказа́л старíк, и чтó-то серьёзное и стрóгое вы́разилось в лицѣ старикá.— Джигíта убíл,— сказа́л он как бúдто с сожалѣнием.

— Сидѣл тáк-то я, гляжú, что чернеет с той стороны́? Я ещё там егó вíсмотрел, тóчно человек подошёл и упáл. Что за дíво! А карчá, здоровáя карчá плывѣт, да не вдоль плывѣт, а поперѣк перебивáет. Глядь, а из-под неѣ головá показывáет. Что за чúдо? Повѣл я, из камышá-то мне и не видно; привстáл, а он услыхáл, вѣрно, бѣстия, да на óтмель и вы́полз, оглядывáет. Врѣшь, дúмаю, не уйдѣшь. Тóлько вы́полз, оглядывáет. (Ох, глóтку завáлило чѣм-то!) Я ружьѣ изготóвил, не шелохнúсь, выжидáю. Постоя́л, постоя́л, опя́ть и поплы́л, да как наплы́л на мѣсяц-то, так аж спи́нá виднá: «Отцú и сы́ну и свя-тóму дúху». Глядь из-за дýма, а он и барáхтается. Застонáл

али почудилось мне. Ну, слава тебе, господи, думаю, убил! А как на отмель вынесло, всё наружу стало, хочет встать, да и нет силы-то. Побился, побился и лёг. Чисто, всё видать. Вишь, не шелохнётся, должно издох. Казаки на кордон побежали, как бы другие не ушли!

— Так и поймал! — сказал старик. — Далече, брат, теперь... — И он опять печально покачал головою. В это время пешие и конные казаки с громким говором и треском сучьев слышались по берегу. — Ведут каюк*, что ли? — крикнул Лука. — Молодец, Лука! тащи на берег! — кричал один из казаков.

Лукашка, не дожидаясь каюка, стал раздеваться, не спуская глаз с добычи.

— Погоди, каюк Назарка ведёт, — кричал урядник.

— Дурак! Живой, может! Притворился! Кинжал возьми, — прокричал другой казак.

— Толкуй! — крикнул Лука, скидывая портки. Он живо разделся, перекрестился и, подпрыгнув, со всплеском вскочил в воду, обмакнулся и, вразмашку кидая белыми руками и высоко поднимая спину из воды и отдувая поперёк течения, стал перебивать Терек к отмели. Толпа казаков звонко, в несколько голосов, говорила на берегу. Трое конных поехали в объезд. Каюк показался из-за поворота. Лукашка поднялся на отмели, нагнулся над телом, ворохнул его раза два. — Как есть мёртвый! — прокричал оттуда резкий голос Луки.

Чеченец был убит в голову. На нём были синие портки, рубаха, черкеска, ружьё и кинжал, привязанные на спину. Сверх всего был привязан большой сук, который и обманул сначала Лукашку.

— Вот так сазан попался! — сказал один из собравшихся кружком казаков, в то время как вытасченное из каюка чеченское тело, приминая траву, легло на берег.

— Да и жёлтый же какой! — сказал другой.

— Где искать поехали наши? Они небось все на той стороне. Кабы не передовой был, так не так бы плыл. Одному зачем плыть? — сказал третий.

— То-то ловкий должно, вперёд всех выискался. Самый, видно, джигит! — насмешливо сказал Лукашка, выжимая мок-

рое платье у берега и беспрестанно вздрагивая. — Борода крашена, подстрижена.

— И зипун в мешочке на спину приладил. Оно и плыть ему легче от неё, — сказал кто-то.

— Слышь, Лукашка! — сказал урядник, державший в руках кинжал и ружьё, снятые с убитого. — Ты кинжал себе возьми и зипун возьми, а за ружьё, приходи, я тебе три монета * дам. Вишь, оно и с свищом, — прибавил он, пуская дух в дуло: — так мне на память лестно.

Лукашка ничего не ответил: ему, видимо, досадно было это попрошайничество; но он знал, что этого не миновать.

— Вишь, чёрт какой! — сказал он, хмурясь и бросая наземь чеченский зипун: — хоть бы зипун хороший был, а то байгуш *.

— Годится за дровами ходить, — сказал другой казак.

— Можев! я домой схожу, — сказал Лукашка, видимо уж забыв свою досаду и желая употребить в пользу подарок начальнику.

— Иди, что ж!

— Оттащи его за кордон, ребята, — обратился урядник к казакам, всё осматривая ружьё. — Да шалашик от солнца над ним сделать надо. Може, из гор выкупать будут.

— Ещё не жарко, — сказал кто-то.

— А чакалка ¹ изорвёт? Это разве хорошо? — заметил один из казаков.

— Караул поставим, а то выкупать придут: нехорошо, коли порвёт.

— Ну, Лукашка, как хочешь; ведро ребятам поставишь, — прибавил урядник весело.

— Уж как водится, — подхватили казаки. — Вишь, счастье бог дал, ничего не видавши, абрека убил.

— Покупай кинжал и зипун. Давай денег больше. И портки продам. Бог с тобой, — говорил Лука. — Мне не налезут; поджарый чёрт был.

Один казак купил зипун за монет. За кинжал дал другой два ведра.

— Пей, ребята, ведро ставлю, — сказал Лука, — сам из станции привезу.

¹ Ч а к а л к а — шакал.

— А порткі дѣвкам на платкі изрѣжь,— сказѧ Назѧрка. Казѧки загрохотѧли.

— Бѹдет вам смеѧться,— повторил урѧдник,— оттащѧ тѣло-то. Что пѧкость такѹю у избы положили...

— Что стѧли? Тащѧ егѧ сюда, ребѧта! — повелѧтельно крѧкнул Лукѧшка казѧкам, котѧрые неохѧтно брались за тѣло, и казѧки испѧлнили егѧ приказѧние, тѧчно он был начѧльник. Протащѧв тѣло нѣсколько шагѧв, казѧки опустили нѧги, котѧрые, безжѧзненно вздрѧгнув, опустились, и, расступѧвшись, постояли мѧлча нѣсколько врѣмени. Назѧрка подошѧл к тѣлу и поправил подвернувшуюся гѧлову так, чтѧбы видѣть кровавую крѹглую рѧну над виском и лицѧ убѧтого.— Вишь, замѣтку какѹю сдѣлал! В сѧмые мозги,— проговорил он: — не пропадѣт, хозѧева узнают.— Никтѧ ничегѧ не отвѣтил, и снова тихий ѧнгел пролетѣл над казѧками.

Сѧнце ужѣ поднялѧсь и раздрѧбленными лучѧми освещѧло росѧстую зѣлень. Тѣрек бурлил неподалѣку в проснѹвшемся лесѹ; встречѧя ѹтро, со всех сторѧн перекликались фазѧны. Казѧки мѧлча и неподвижно стояли вокрѹг убѧтого и смотрѣли на негѧ. Корѧчневое тѣло в однѧх потемнѣвших мѧкрых сѧних портках, стѧнутых пояском на впѧлом животѣ, бѧло стрѧйно и красѧво. Мѹскулистые рѹки лежѧли прѧмо, вдоль рѣбер. Синевѧтая свежевѧбритая крѹглѧ головѧ с запѣкшейся рѧной сбѧку былѧ откинута. Глѧдкий загорѣлый лоб рѣзко отдѣлялся от брѧтого мѣста. Стеклѧнно-открытые глазѧ с нѧзко остановившимися зрачками смотрѣли вверх, казѧлось, мѧмо всегѧ. На тѧнких губѧх, растянутых в краѧх и выставлѧвшихся из-за красных подстриженных усѧв, казѧлось, остановилась добродѹшная, тѧнная усмѣшка. На мѧленьких кистѧх рук, порѧсших рѧжими волосѧми, пѧльцы бѧли зѧгнуты внутрь и нѧгти выкрашены красным. Лукѧшка все ещѣ не одевѧлся. Он был мокр, шеѧ егѧ былѧ краснѣе, и глазѧ егѧ блестѣли бѧльше обыкновенного; ширѧкие скѹлы вздрѧгивали; от бѣлого, здорового тѣла шѣл чуть замѣтный пар на ѹтреннем свѣжем вѧздухе.

— Тѧже человек был! — проговорил он, видѧмо любѹясь мертвецѧм.

— Да, попѧлся бы емѹ, спѹска бы не дал,— отозвѧлся однѧ из казѧков.

Тихий ангел отлетел. Казаки зашевелились, заговорили. Двое пошли рубить кусты для шалаша. Другие побрели к кордону. Лука с Назаркой побежали собираться в станцию.

Спустя полчаса через густой лес, отделявший Тёрек от станции, Лукашка с Назаркой почти бегом шли домой, не переставая разговаривать.

— Ты ей не скáзывай, смотри, что я прислал; а поди посмотри, муж дома, что ли? — говорил Лука резким голосом.

— А я к Ямке зайду. Погуляем, что ль? — спрашивал покорный Назар.

— Уж когда же гулять-то, что не ныне, — отвечал Лука.

Придя в станцию, казаки выпили и завалились спать до вечера.

Х

На третий день после описанного события две роты кавказского пехотного полка пришли стоять в Новомлинскую станцию. Отпряжённый ротный обоз уже стоял на площади. Кашевары, вырыв яму и притащив с разных дворов плохо лежавшие чурки, уже варили кашу. Фельдфебеля рассчитывали людей. Фурштаты забивали кольца для коновязи. Квартирьеры, как домашние люди, сновали по улицам и переулкам, указывая квартиры офицерам и солдатам. Тут были зелёные ящики, выстроенные во фронт. Тут были артельные повозки и лошади. Тут были котлы, в которых варилась каша. Тут был и капитан, и поручик, и Онисим Михайлович фельдфебель. И находилось всё это в той самой станции, где, слышно, было приказано стоять ротам; следовательно, роты были дома. Зачем стоять тут? Кто такие это казаки? Нравится ли им, что будут стоять у них? Раскольники они или нет? До этого нет дела. Распущенные от расчёта, изнурённые и запалённые солдаты, шумно и беспорядочно, как усаживающийся рой, рассыпаются по площадям и улицам; решительно не замечая нерасположения казаков, по двое, по трое, с весёлым говором и позвякивая ружьями, входят в хаты, развешивают амуницию, разбирают мешочки и пошучивают с бабами. К любимому солдатскому месту, к каше, собирается большая группа,



и с трубочками в зубах солдатики, поглядывая то на дым, незаметно поднимающийся в жаркое небо и сгущающийся в вышине, как белое облако, то на огонь костра, как расплавленное стекло дрожащий в чистом воздухе, острят и потешаются над казаками и казачками за то, что они живут совсем не так, как русские. По всем дворам виднеются солдаты, и слышен их хохот, слышны ожесточенные и пронзительные крики казачек, защищающих свой дом, не дающих воды и посуды. Мальчишки и девочки, прижимаясь к матерям и друг к другу, с испуганным удивлением следят за всеми движениями невиданных еще ими армейских и на почтительном расстоянии бегают за ними. Старые казаки выходят из хат, садятся на завалинках и мрачно и молчаливо смотрят на хлопотную солдат, как будто махнув рукой на все и не понимая, что из этого может выйти.

Оленину, который уже три месяца как был зачислен юнкером в кавказский полк, была отведена квартира в одном из лучших домов в станице, у хорунжего Ильи Васильевича, то есть у бабуки Улиты.

— Что это будет такое, Дмитрий Андреевич? — говорил запыхавшийся Ванюша Оленину, который верхом, в черкёске, на купленном в Грозной кабардинце весело после пятичасового перехода въезжал на двор отведённой квартиры.

— А что, Иван Васильевич? — спросил он, подбадривая лошадь и весело глядя на вспотевшего, со спутанными волосами и расстроенным лицом, Ванюшу, который приехал с обозом и разбира́л вещи.

Оленин на вид казался совсем другим человеком. Вместо бритых скул у него были молодые усы и боро́дка. Вместо истасканного ночью жизнью желтоватого лица, — на щеках, на лбу, за ушами был красный, здоровый загар. Вместо чистого, нового чёрного фра́ка была белая, грязная, с широкими складками черкёска и ору́жие. Вместо свежих крахмальных воротничков — красный ворот канáусового бешмёта, который стягивал загорелую шею. Он был одет по-черкёски, но плохо; всякий узна́л бы в нём русского, а не джигита. Всё было так, да не так. Несмотря на то, вся нару́жность его дышала здоровьем, веселостью и самодовольством.

— Вам вот смешно, — сказал Ванюша, — а вы подите-ка сами поговорите с этим народом: не да́ют тебе хода, да и шабаш. Слова, так и того не добьёшься. — Ванюша сердито бросил к поро́гу железное ведро. — Не русские какие-то.

— Да ты бы стани́чного начальника спросил.

— Да ведь я их местоположения не знаю, — обиженно отвечал Ванюша.

— Кто ж тебя так обижает? — спросил Оленин, оглядываясь кругом.

— Чёрт их знает! Тьфу! Хозяина настоящего нету, на какую-то *кри́гу*¹, говорят, пошёл. А старуха такая дьявол, что упаси́ господи, — отвечал Ванюша, хватаясь за голову. — Как

¹ Кри́гой называется место у берега, огороженное плетнём для ловли рыбы. (Прим. Л. Н. Толстого.)

тут жить будет, я уж не знаю. Хуже татар, ей-богу. Даром, что тоже христиане считаются. На что татарин, и тот благородней. «На кригу пошёл!» Какую кригу выдумали, неизвестно! — заключил Ванюша и отвернулся.

— Что, не так, как у нас на дворне? — сказал Оленин, подтрунивая и не слезая с лошади.

— Лошадь-то пожалуйте, — сказал Ванюша, видимо озадаченный новым для него порядком, но покоряясь своей судьбе.

— Так татарин благородней? А, Ванюша? — повторил Оленин, слезая с лошади и хлопая по седлу.

— Да, вот вы смеетесь тут! Вам смешно! — проговорил Ванюша сердитым голосом.

— Постой, не сердись, Иван Васильевич, — отвечал Оленин, продолжая улыбаться. — Дай вот я пойду к хозяевам, посмотрю — всё улажу. Ещё как заживём славно! Ты не волнуйся только.

Ванюша не отвечал, а только, прищурив глаза, презрительно посмотрел вслед барину и покачал головой. Ванюша смотрел на Оленина только как на барина. Оленин смотрел на Ванюшу только как на слугу. И они оба очень удивились бы, ежели бы кто-нибудь сказал им, что они друзья. А они были друзья, сами того не зная. Ванюша был взят в дом одиннадцатилетним мальчиком, когда и Оленину было столько же. Когда Оленину было пятнадцать лет, он одно время занимался обучением Ванюши и выучил его читать по-французски, чем Ванюша премного гордился. И теперь Ванюша, в минуты хорошего расположения духа, отпускал французские слова и при этом всегда глупо смеялся.

Оленин вбежал на крыльцо хаты и толкнул дверь в сени. Марьянка в одной розовой рубаше, как обыкновенно дома ходят казачки, испуганно отскочила от двери и, прижавшись к стене, закрыла нижнюю часть лица широким рукавом татарской рубашки. Отворив дальше дверь, Оленин увидел в полусвете всю высокую и стройную фигуру молодой казачки. С быстрым и жадным любопытством молодости он невольно заметил сильные и девственные формы, обозначившиеся под тонкою ситцевою рубашкой, и прекрасные чёрные глаза, с детским ужасом и диким любопытством устремлённые на него.

«Вот она!» — подумал Оленин. «Да ещё много таких будет», — вслед за тем пришло ему в голову, и он отворил другую дверь в хату. Старая бабушка Улитка, также в одной рубашке, согнувшись, задом к нему, выметала пол.

— Здравствуй, матушка! Вот я о квартире пришёл... — начал он.

Казачка, не разгибаясь, обернула к нему строгое, но ещё красивое лицо.

— Что пришёл? Насмеяться хочешь? А? Я те насмеюсь! Чёрная на тебя немочь! — закричала она, искоса глядя на пришедшего из-под насупленных бровей.

Оленин сначала думал, что изнурённое храброе кавказское войско, которого он был членом, будет принято везде, особенно казаками, товарищами по войне, с радостью, и потому такой приём озадачил его. Не смущаясь однако, он хотел объяснить, что он намерен платить за квартиру, но старуха не дала договорить ему.

— Чего пришёл? Какую надо болячку? Скоблёное твоё рыло! Вот дай срок, хозяин придёт, он тебе покажет место. Не нужно мне твоих денег поганых. Легко ли, не видали! Табачищем дом загадит, да деньгами платить хочет. Эку болячку не видали! Расстрели тебе в животы сердце!.. — пронзительно кричала она, перебивая Оленина.

«Видно, Ванюша прав! — подумал Оленин. — Татарин благороднее», — и, провожаемый бранью бабушки Улитки, вышел из хаты. В то время как он выходил, Марьяна, как была в одной розовой рубашке, но уже до самых глаз повязанная белым платком, неожиданно шмыгнула мимо его из сеней. Быстро постукивая по сходцам босыми ногами, она сбежала с крыльца, приостановилась, порывисто оглянулась смеющимися глазами на молодого человека и скрылась за углом хаты.

Твёрдая, молодая походка, дикий взгляд блестящих глаз из-под белого платка и стройность сильного сложения красавицы ещё сильнее поразили теперь Оленина. «Должно быть, она», — подумал он. И ещё менее думая о квартире и всё оглядываясь на Марьянку, он подошёл к Ванюше.

— Вишь, и девка такая же дикая! — сказал Ванюша,

ещё возившийся у повозки, но несколько развеселившийся, — ровно кобылка табунная. *Лафам!*¹ — прибавил он громким и торжественным голосом и захохотал.

XI

В вечеру хозяин вернулся с рыбной ловли и, узнав, что ему будут платить за квартиру, усмирил свою бабу и удовлетворил требованиям Ванюши.

На новой квартире всё устроилось. Хозяева перешли в тёплую, а юнкеру за три монета в месяц отдали холодную хату. Оленин поел и заснул. Проснувшись перед вечером, он умылся, обчистился, пообедал и, закурив папироску, сел у окна, выходящего на улицу. Жар свалил. Косая тень хаты с вырезным князьком стлалась через пыльную улицу, загибаясь даже на низу другого дома. Камышовая крутая крыша противоположного дома блестела в лучах спускающегося солнца. Воздух свежел. В станице было тихо. Солдаты разместились и попритихли. Стадо еще не прогоняли, и народ ещё не возвращался с работ.

Квартира Оленина была почти на краю станицы. Изредка где-то далеко за Тереком, в тех местах, из которых пришёл Оленин, раздавались глухие выстрелы, — в Чечне или на Кумыцкой плоскости. Оленину было очень хорошо после трёхмесячной бивачной жизни. На умытом лице он чувствовал свежесть, на сильном теле — непривычную после похода чистоту, во всех отдохнувших членах — спокойствие и силу. В душе у него тоже было свежо и ясно. Он вспоминал поход, миновавшую опасность. Вспоминал, что в опасности он вёл себя хорошо, что он не хуже других, и принят в товарищество храбрых кавказцев. Московские воспоминания уж были бог знает где. Старая жизнь была стёрта, и началась новая, совсем новая жизнь, в которой ещё не было ошибок. Он мог здесь, как новый человек между новыми людьми, заслужить новое хорошее о себе мнение. Он испытывал молодое чувство беспричинной радости жизни и, посматривая то в окно на

¹ От франц. *La femme!* — Женщина!

мальчишек, гонявших кубарі в тѣни около дома, то в свою новую прибранную квартирку, думал о том, как он приятно устроится в этой новой для него станичной жизни. Посматривал он ещё на горы и небо, и ко всем его воспоминаниям и мечтам примешивалось строгое чувство величавой природы. Жизнь его началась не так, как он ожидал, уезжая из Москвы, но неожиданно хорошо. Горы, горы, горы чувались во всём, что он думал и чувствовал.

— Сучку поцеловал! кувшин облизал! Дядя Ерощка сучку поцеловал! — закричали вдруг казачата, гонявшие кубарі под окном, обращаясь к проулку. — Сучку поцеловал! Кинжал пропил! — кричали мальчишки, теснясь и отступая.

Крики эти обращались к дяде Ерощке, который с ружьем за плечами и фазанами за поясом возвращался с охоты.

— Мой грех, ребята! мой грех! — приговаривал он, бойко размахивая руками и поглядывая в окна хат по обе стороны улицы. — Сучку пропил, мой грех! — повторил он, видимо сердясь, но притворяясь, что ему всё равно.

Оленина удивило обращение мальчишек с старым охотником, а ещё более поразило выразительное, умное лицо и сила сложения человека, которого называли дядей Ерощкой.

— Дедушка! казак! — обратился он к нему. — Подойди-ка сюда.

Старик взглянул в окно и остановился.

— Здравствуй, добрый человек, — сказал он, приподнимая над коротко обстриженной головой свою шапочку.

— Здравствуй, добрый человек, — отвечал Оленин. — Что это тебе мальчишки кричат?

Дядя Ерощка подошел к окну.

— А дразнят меня, старика. Это ничего. Я люблю. Пускай радуются над дядей, — сказал он с теми твердыми и певучими интонациями, с которыми говорят старые и почтенные люди. — Ты начальник армейских, что ли?

— Нет, я юнкер. А где это фазанов убил? — спросил Оленин.

— В лесу три курочки замордовал, — отвечал старик, поворачивая к окну свою широкую спину, на которой заткнутые головками за поясом, пятная кровью черкеску, висели три фазанки. — Али ты не видывал? — спросил он. — Коли хочешь,

возьми себе пáрочку. На! — И он подал в окно́ двух фазáнов.—
А что, ты охóтник? — спросил он.

— Охóтник. Я в походе сам убил четырёх.

— Четырёх? Много! — насмешливо сказа́л старик.— А пьяница ты? Чихи́рь пьёшь?

— Отчего́ ж? и выпить люблю́.

— Э, да ты, я ви́жу, молодёц! Мы с тобо́й кунаки́ бу́дем,— сказа́л дядя Ерóшка.

— Заходи́,— сказа́л Оленин.— Вот и чихи́рю выпьем.

— И то зайти́,— сказа́л старик.— Фазáнов-то возьми́.

По лицу́ старика́ ви́дно было́, что ю́нкер понра́вился ему́, и он сейчас по́нял, что у ю́нкера мо́жно да́ром выпить и потому́, мо́жно подарить́ ему́ па́ру фазáнов.

Че́рез не́сколько мину́т в дверя́х ха́ты показáлась фигу́ра дяди Ерóшки. Тут то́лько Оленин замéтил всю грома́дность и си́лу сло́жения э́того челове́ка, несмотря́ на то, что кра́сно-коричневое лицо́ его́ с соверше́нно бе́лою оклада́стою боро́дой было́ всё изры́то ста́рческими, могу́чими, трудовы́ми морщи́нами. Мы́шцы ног, рук и плеч бы́ли так полны́ и бочковáты, как быва́ют то́лько у младо́го челове́ка. На голове́ его́ из-под ко́ротких во́лос видны́ бы́ли глубóкие заживши́е шра́мы. Жи́листая, то́лстая ше́я была́, как у быка́, покры́та кле́тчатыми скла́дками. Ко́рявые ру́ки бы́ли сб́иты и исцара́паны. Он легко́ и ловко́ перешагну́л че́рез поро́г, освободи́лся от ружья́, поста́вил его́ в у́гол, бы́стрым взгля́дом оки́нул и оцени́л сло́женные в ха́те пожитки́ и вы́вернутыми нога́ми в по́ршнях, не то́пая, вы́шел на сре́дину ко́мнаты. С ним вме́сте прои́к в ко́мнату си́льный, но не неприятный сме́шанный за́пах чихи́рю, во́дки, поро́ху и запёкшейся крóви.

Дядя Ерóшка поклони́лся образа́м, распра́вил бо́роду и, подойдя́ к Оленину, подал ему́ свою́ чёрную то́лстую ру́ку.

— *Кошкильды́!* — сказа́л он.— Это по-татарски́ значит: здра́вия желáем, мир вам, по-и́хнему.

— *Кошкильды́!* Я зна́ю,— отве́чал Оленин, подава́я ему́ ру́ку.

— Э, не зна́ешь, не зна́ешь порядков! Дура́к! — сказа́л дядя Ерóшка, укори́зненно кача́я голово́й.— Ко́ли тебе́ *кошкильды́* говоря́т, ты скажи́: *алла́ рази́ бо сун*, спаси́ бог. Та́к-

то, отец мой, а не *кошкильды*. Я тебя всему научу. Так-то был у нас Илья Мосевич, ваш, русский, так мы с ним кунаки были. Молодец был. Пьяница, вор, охотник, уж какой охотник! Я его всему научил.

— Чему ж ты меня научишь? — спросил Оленин, всё более и более заинтересовываясь стариком.

— На охоту тебя поведу, рыбу ловить научу, чеченцев покажу, душеньку хочешь, и ту доставлю. Вот я какой человек!.. Я шутник! — И старик засмеялся. — Я сяду, отец мой, я устал. Карга? — прибавил он вопросительно.

— А карга что значит? — спросил Оленин.

— А это значит: *хорошо*, по-грузински. А я так говорю, поговорка моя, слово любимое: карга; карга, так и говорю, значит *шутю*. Да что, отец мой, чихирю-то вели поднести. Солдат драбант есть у тебя? Есть? Иван! — закричал старик. — Ведь у вас что ни солдат, то Иван. Твой Иван, что ли?

— И то, Иван. Ванюша! Возьми, пожалуйста, у хозяев чихиря и принеси сюда.

— Всё одно, что Ванюша, что Иван. Отчего у вас, у солдат, все Иваны? Иван! — повторил старик. — Ты спроси, батюшка, из начатой бочки. У них первый чихирь в станице. Да больше тридцати копеек за осьмуху, смотри, не давай, а то она, ведьма, рада... Наш народ анафемский, глупый народ, — продолжал дядя Ерощка доверчивым тоном, когда Ванюшка вышел, — они вас не за людей считают. Ты для них хуже татарина. Мирские, мол, русские. А по-моему, хоть ты и солдат, а всё человек, тоже душу в себе имешь. Так ли я сужу? Илья Мосевич солдат был, а какой золото человек был! Так ли, отец мой? За то-то меня наши и не любят; а мне всё равно. Я человек веселый, я всех люблю, я Ерощка! Так-то, отец мой!

И старик ласково потрепал по плечу молодого человека.

ХП

Ванюша, между тем успевший уладить своё хозяйство и даже обрившийся у ротного цирюльника и выпустивший панталоны из сапог в знак того, что рота стоит на просторных

квартирах, находился в самом хорошем расположении духа. Он внимательно, но недоброжелательно посмотрел на Ерошку, как на дикого невиданного зверя, покачал головой на запачканный им пол и, взяв из-под лавки две пустые бутылки, отправился к хозяевам.

— Здравствуйте, любезенькие, — сказал он, решившись быть особенно кратким. — Барин велел чихирю купить; налейте, добряшки.

Старуха ничего не ответила. Девка, стоя перед маленьким татарским зеркальцем, убирала платком голову; она молча оглянулась на Ванюшу.

— Я деньги заплачу, почтенные, — сказал Ванюша, потряхивая в кармане медными. — Вы будьте добрые, и мы добрые будем, так-то лучше, — прибавил он.

— Много ли? — отрывисто спросила старуха.

— Осьмушку.

— Поди, родная, нацеди им, — сказала бабука Улита, обращаясь к дочери. — Из начатой налей, желанная.

Девка взяла ключи и графин и вместе с Ванюшей вышла из хаты.

— Скажи, пожалуйста, кто эта такая женщина? — спросил Оленин, указывая на Марьянку, которая в это время проходила мимо окна.

Старик подмигнул и толкнул локтем молодого человека.

— Постой, — проговорил он и высунулся в окно. — Кхм! Кхм! — закашлял и замычал он. — Марьянушка! А, нянюка Марьянка! Полюби меня, душенька! Я шутник, — прибавил он шепотом, обращаясь к Оленину.

Девка, не оборачивая головы, ровно и сильно размахивая руками, шла мимо окна той особенною щеголеватой, молодецкою походкой, которою ходят казаки. Она только медленно повела на старика своими черными, отененными глазами.

— Полюби меня, будешь счастливая! — закричал Ерошка и, подмигивая, вопросительно взглянул на Оленина. — Я молодец, я шутник, — прибавил он. — Королева девка? А?

— Красавица, — сказал Оленин. — Позови её сюда.

— Ни-ни! — проговорил старик. — Эту сватают за Лукашку. Лука — казак молодец, джигит, намеднишь абрека убил.

Я тебѣ лучше найду. Такую добуду, что вся в шелку, да в серебрѣ ходить будет. Уже сказал — сделаю; красавицу достану.

— Старик, а что говоришь! — сказал Оленин. — Ведь это грех?

— Грех? Где грех? — решительно отвечал старик. — На хорошую дѣвку поглядѣть грех? Погулять с ней грех? Али любить её грех? Это у вас так? Нет, отец мой, это не грех, а спасенье. Бог тебя сделал, бог и дѣвку сделал. Всё он, батюшка, сделал. Так на хорошую дѣвку смотрѣть не грех. На то она сделана, чтоб её любить да на неё радоваться. Так-то я сужу, добрый человек.

Пройдя через двор и войдя в тѣмную, прохладную клеть, заставленную бочками, Марьяна с привычною молитвой подошла к бочке и опустила в неё ливер*. Ванюша, стоя в дверях, улыбался, глядя на неё. Ему ужасно смешно казалось, что на ней одна рубаша, обтянута сзади и поддёрнута спереди, и ещё смешнее то, что на шее висели полтинники. Он думал, что это не по-русски и что у них в дворне то-то смеху было бы, кабы такую дѣвку увидали. «*La fille com se tre бье*¹ для разнообразия, — думал он, — скажу теперь барину».

— Что зазастил-то, чёрт! — вдруг крикнула дѣвка. — Подал бы графин-то.

Нацедив полный графин холодным красным вином, Марьяна подала его Ванюше.

— Мамуке деньги отдай, — сказала она, отталкивая руку Ванюши с деньгами.

Ванюша усмехнулся.

— Отчего вы такие сердитые, миленькие? — сказал он добродушно, переминаясь, в то время как дѣвка закрывала бочку.

Она засмеялась.

— А вы разве добрые?

— Мы с господином очень добрые, — убедительно отвечал Ванюша. — Мы такие добрые, что где ни жили, вездѣ нам хозяева наши благодарны оставались. Потому благородный человек.

Дѣвка приостановилась, слушая.

¹ Дѣвушка, это очень хорошо (франц.).

— А что, он женáтый, твой пáн-то? — спросила она.

— Нет! Наш бáрин молодóй и не женáтый. Потому́ господá благородные никогда́ мо́лоды жениться не мо́гут,— поучительно возразил Ванюша.

— Легко́ ли! Какóй буйвол разьелся, а жениться мо́лод! Он у вас у всех нача́льник? — спросила она.

— Господин мой юнкер, значит, ещё не офицёр. А звание-то имéет себе́ больше генерáла — большо́го лица́. Потому́ что не то́лько наш полкóвник, а сам царь его́ знаёт,— гордо объяснил Ванюша.— Мы не такие, как другая́ армейская голь, а наш па́пенька сам сенáтор; ты́сячу, больше душ мужиков себе́ имёл и нам по ты́сяче присыла́ют. Потому́ нас всегда́ и лю́бят. А то пожа́луй и капитáн, да де́нег нет. Что про́ку-то?..

— Иди́, запрú,— прервала́ де́вка.

Ванюша принёс вино́ и объявил Оленину, что *ла филь се тре жули́*¹,— и то́час же с глúпым хóхотом ушёл.

XIII

Между тем на площади пробíли збрю. Нарóд возвратился с рабóт. В ворóтах замычáло ста́до, толпясь в пы́льном золотистом óблаке. И де́вки, и ба́бы засуетились по у́лицам и двора́м, убирая скотину. Со́лнце скры́лось совсём за далёким сне́жным хребто́м. Одна́ голубовáтая тень разостлáлась по землé и небу. Над потемнёвшими са́дами чуть замéтно зажглись звёзды, и звúки понемно́гу затихáли в станице. Убра́в скотину, казáчки выходили на углы́ у́лиц и, пощёлкивая се́мя, уса́живались на завáлинках. К одному́ из таких кружко́в, подоив двух корóв и буйволицу, присоеди́нилась и Марья́нка.

Кружо́к состоя́л из не́скольких баб и де́вок с одним ста́рым каза́ком.

Речь шла об убитом абре́ке. Каза́к рассказывал, ба́бы спрашивали.

— А награ́да, я чай, большáя ему́ бóдет? — говори́ла казáчка.

¹ Девушка очень красивая (франц.).

— А то как же? Ба́ют, крест вы́шлют.

— Мо́сев и то хотёл его́ обидеть. Ружьё́ отнял, да нача́льство в Кизля́ре узна́ло.

— То́-то по́длая душа́, Мо́сев-то.

— Ска́зывали, пришёл Лука́шка-то,— сказа́ла одна́ де́вка.

— У Ямки (Ямка бы́ла холоста́я распу́тная каза́чка, держа́вшая шино́к*) с Наза́ркой гуля́ют. Ска́зывают, полведра́ вы́пили.

— Эко Урва́ну сча́стье! — сказа́л кто́-то.— Пря́мо, что Урва́н! Да что! ма́лый хоро́ш. Куда́ ло́вок! Справедли́вый ма́лый. Тако́й же оте́ц был, ба́тяка Ки́рьяк; в отца́ весь. Как его́ уби́ли, вся стани́ца по нём вы́ла... Вон о́ни иду́т, ника́к,— продо́лжала гово́рившая, ука́зывая на каза́ков, подви́гавшихся к ним по у́лице.— Ергушо́в-то поспе́л с ни́ми! Вишь, пья́ница!

Лука́шка с Наза́ркой и Ергушо́вым, вы́пив полведра́, шли к де́вкам. О́ни все тро́е, в о́собенности ста́рый каза́к, бы́ли красне́е обыкнове́нного. Ергушо́в поша́тывался и всё, гро́мко смея́сь, толка́л под бока́ Наза́рку.

— Что, скурёхи, пе́сен не игра́ете? — крикну́л он на де́вок.— Я говорю́, игра́йте на на́ше гуля́нье.

— Здро́во днева́ли? Здро́во днева́ли? — послы́шались привётствия.

— Что игра́ть? ра́зве пра́здник? — сказа́ла ба́ба.— Ты наду́лся и игра́й.

Ергушо́в захохота́л и толкну́л Наза́рку:

— Игра́й ты, что ль! И я заигра́ю, я ло́вок, я говорю́.

— Что, красáвицы, засну́ли? — сказа́л Наза́рка.— Мы с кордо́на *помолить*¹ пришлѝ. Вот Лука́шку *помолѝли*.

Лука́шка, подо́йдя к кру́жку, ме́дленно приподня́л папа́ху и остано́вился про́тив де́вок. Широ́кие ску́лы и ше́я бы́ли у него́ кра́сны. Он сто́ял и говорѝл тѝхо, степе́нно; но в э́той ме́дленности и степе́нности движе́ний бы́ло бо́льше оживле́нности и си́лы, чем в болтовне́ и суетне́ Наза́рки. Он напомина́л разыгра́вшегося жеребца́, кото́рый, взвив хвост и фы́ркнув,

¹ Помолѝть — на каза́чем языке́ значѝт за вино́м поздра́вить когдо́нибудь ѝли пожела́ть сча́стья; воо́бще́ употребле́ется в смы́сле вы́пить. (Прим. Л. Н. Толсто́го.)

остановился как вкопанный всеми ногами. Лукашка тихо стоял перед дёвками; глаза его смеялись; он говорил мало, поглядывая то на пьяных товарищей, то на девок. Когда Марьяна подошла к углу, он ровным, неторопливым движением приподнял шапку, посторонился и снова стал против неё, слегка отставив ногу, заложив большие пальцы за пояс и поигрывая кинжалом. Марьяна в ответ на его поклон медленно нагнула голову, уселась на завалинке и достала из-за пазухи сёма. Лукашка, не спуская глаз, смотрел на Марьяну и, щёлкая сёма, поплёвывал. Все затихли, когда подошла Марьяна.

— Что же? надолго пришли? — спросила казачка, прерывая молчанье.

— До утра, — степенно отвечал Лукашка.

— Да что ж, дай бог тебе интерес хороший, — сказал казак, — я рад, сейчас говорю.

— И я говорю, — подхватил пьяный Ергушов, смеясь. — Гостей-то что! — прибавил он, указывая на проходившего солдата. — Водка хорошая солдатская, люблю!

— Трёх дьяволов к нам пригнали, — сказала одна из казачек. — Уж дедука в станичное ходил; да ничего, бают, сделать нельзя.

— Ага! Аль горе узнала? — сказал Ергушов.

— Табачищем закурили небось? — спросила другая казачка. — Да кури на дворе сколько хошь, а в хату не пустим. Хошь станичный приходи, не *пустю*. Обокрадут ещё. Вишь, он небось, чёртов сын, к себе не поставил, станичный-то.

— Не любишь! — опять сказал Ергушов.

— А то бают ещё, дёвкам постелю стлать велено для солдатов и чихирём с мёдом поить, — сказал Назарка, отставляя ногу как Лукашка и так же, как он, сбивая на затылок папаху.

Ергушов разразился хохотом и, ухватив, обнял девуку, которая ближе сидела к нему.

— Верно, говорю.

— Ну, смола, — запищала девушка, — бабе скажу.

— Говори! — закричал он. — И впрямь Назарка правду баит; цидула была, ведь он грамотный. Верно. — И он принялся обнимать другую девуку по порядку.

— Что пристал, сволочь? — смеясь запищала румяная круглолицая Устенька, замахаясь на него.

Казак посторонился и чуть не упал.

— Вишь, говорят, у девок силы нету: убила бы совсем.

— Ну, смолá, чёрт тебя принёс с кордо́ну! — проговорила Устенька и, отвернувшись от него, снова фыркнула со смеху. — Проспал было абре́ка-то? Вот он бы тебя срезал, и лучше было.

— Завыла бы небось! — засмеялся Назарка.

— Так тебе и завую!

— Вишь, ей и горя нет. Завыла бы? Назарка, а? — говорил Ергушов.

Лукашка всё время молча глядел на Марьянку. Взгляд его, видимо, смущал девуку.

— А что, Марьянка, слышь, начальника у вас поставили? — сказал он, подвигаясь к ней.

Марьяна, как всегда, не сразу отвечала и медленно подняла глаза на казаков. Лукашка смеялся глазами, как будто что-то особенное, независимое от разговора, происходило в это время между им и девукой.

— Да, им хорошо, как две хаты есть, — вмешалась за Марьяну старуха, — а вот к Фомушкиным тоже ихнего начальника отвели, так, бают, весь угол добром загородил, а с своей семьёй деваться некуда. Слыхано ли дело, целую орду в станицу пригна́ли! Что будешь делать, — сказала она. — И какую чёрную немочь они тут работать будут!

— Сказывают, мост на Тереку стробить будут, — сказала одна девушка.

— А мне сказывали, — промолвил Назарка, подходя к Устенке, — яму рыть будут, девок сажать за то, что ребят молодых не любят. — И опять он сделал любимое колёнце, вслед за которым все захохотали, а Ергушов тотчас же стал обнимать старую казачку, пропустив Марьянку, следовавшую по порядку.

— Что ж Марьянку не обнимаешь? Всех бы по порядку, — сказал Назарка.

— Не, моя старая слаще, — кричал казак, целуя отбивавшуюся старуху.

— Задүшит! — кричала она́ смеясь.

Мирный топот шагов на концé улицы прервал хохот. Три солдата в шинелях, с ружьями на плечó шли в ногу на смéну к рóтному ящику. Ефре́йтор, ста́рый кавале́р, се́рдито глянув на каза́ков, провёл солдат так, что Лука́шка с Назаркой, стоявшие на са́мой доро́ге, должны́ бы́ли посторони́ться. Назарка отступил, но Лука́шка, то́лько прищүрившись, оборотил го́лову и широ́кую спи́ну и не тронулся с ме́ста.

— Лю́ди сто́ят, обойди́,— проговорил он, то́лько йскоса и презри́тельно кивну́в на солдат.

Солдаты мо́лча прошли́ мимо, ме́рно отби́вая шаг по пы́льной доро́ге.

Марья́на засмея́лась, и за ней все де́вки.

— Эки нарядные ребята!—сказал Назарка.—Ровно устáвшики длиннопо́лые,— и он промарширова́л по доро́ге, передрáзнивая их.

Все о́пять разрази́лись хохотом.

Лука́шка ме́дленно подошёл к Марья́не.

— А нача́льник у вас где сто́ит? — спросил он.

Марья́на подумала.

— В но́вую хату пусти́ли,— сказа́ла она́.

— Что он, ста́рый и́ли молодой? — спросил Лука́шка, подса́живаясь к де́вке.

— А я ра́зве спра́шивала,— отвеча́ла де́вка.— За чихирём ему́ ходила, ви́дела, с дядей Еро́шкой в окне́ сидит, ры́жий ка-ко́й-то. А добра́ целую арбу́ полну́ привезли́.

И она́ опусти́ла глаза́.

— Уж как я рад, что пришло́сь с кордо́на вы́проситься! — сказа́л Лука́шка, бли́же придвига́ясь на зава́линке к де́вке и всё глядя ей в глаза́.

— Что ж, надолго пришёл? — спросила Марья́на, слегка улыба́ясь.

— До утра́. Дай се́мечек,— прибáвил он, протя́гивая ру́ку.

Марья́на совсе́м улыбну́лась и откры́ла во́рот руба́хи.

— Все не бери́,— сказа́ла она́.

— Пра́во, всё о тебе́ скү́чился, ей-бо́гу,— сказа́л сде́ржанно-споко́йным шёпотом Лука́, доставáя се́мечки из-за па́зухи

дѣвки, и, ещё бльже пригнувшись к ней, стал шёпотом говорить что-то, смеясь глазами.

— Не придё, сказано,— вдруг громко сказала Марьяна, отклоняясь от него.

— Право... Что я тебе сказать хотёл,— прошептал Лукашка: — ей-богу! Приходи, Машенька.

Марьянка отрицательно покачала головой, но улыбалась.

— Нянюка Марьянка! А, нянюка! Мамука ужинать зовёт,— прокричал, подбегая к казачкам, маленький брат Марьяны.

— Сейчас придё,— отвечала дѣвка,— ты иди, батюшка, иди один; сейчас придё.

Лукашка встал и приподнял папаху.

— Видно, и мне домой пойти, дело-то лучше будет,— сказал он, притворяясь небрежным, но едва сдерживая улыбку, и скрылся за углом дома.

Между тем ночь уже совсем опустылась над станцией. Яркие звёзды высыпали на тёмном небе. По улицам было темно и пусто. Назарка остался с казачками на завалинке, и слышался их хохот, а Лукашка, отойдя тихим шагом от дѣвок, как кошка пригнулся и вдруг неслышно побежал, придерживая мотавшийся кинжал, не домой, а по направлению к дому хорунжего. Пробежав две улицы и завернув в переулок, он подобрал черкёску и сел наземь в тени забора. «Ишь, хорунжиха! — думал он про Марьяну,— и не пошутит, чёрт! Дай срок».

Шаги приближавшейся женщины развлекли его. Он стал прислушиваться и засмеялся сам с собою. Марьяна, опустив голову, шла скорыми и ровными шагами прямо на него, постукивая хворостной по кольям забора. Лукашка приподнялся. Марьяна вздрогнула и приостановилась.

— Вишь, чёрт проклятый! Напугал меня. Не пошёл же домой,— сказала она и громко засмеялась.

Лукашка обнял одною рукой дѣвку, а другою взял её за лицо.

— Что я тебе сказать хотёл... Ей-богу!..— Голос его дрожал и прерывался.

— Какі разговоры нашёл по ночам,— отвечала Марьяна.— Мамука ждёт, а ты к своей душеньке поди.

И, освободившись от его руки, она отбежала несколько шагов. Дойдя до плетня своего двора, она остановилась и оборотилась к казаку, который бежал с ней рядом, продолжая уговаривать её подождать на часок.

— Ну, что сказать хотел, полуночник? — И она опять засмеялась.

— Ты не смейся надо мной, Марьяна! Ей-богу! Что ж, что у меня душенька есть? А чёрт её возьми! Только слово скажи, уж так любить буду — что хошь, то и сделаю. Вон он! (И он погремел деньгами в кармане.) Теперь заживём. Люди радуются, а я что? Не вижу от тебя радости никакой, Марьянушка!

Девка ничего не отвечала, стояла перед ним и быстрыми движениями пальцев на мелкие куски ломала хворостинку.

Лукашка вдруг стиснул кулаки и зубы.

— Да и что всё ждать да ждать! Я ли тебя не люблю, матушка! Что хочешь надо мной делай, — вдруг сказал он, злобно хмурясь, и схватил её за обе руки.

Марьяна не изменила спокойного выражения лица и голоса.

— Ты не куражься, Лукашка, а слушай ты мои слова, — отвечала она, не вырывая рук, но отдаляя от себя казака. — Известно, я девушка, а ты меня слушай. Воля не моя, а коли ты меня любишь, я тебе вот что скажу. Ты руки-топусти, я сама скажу. Замуж пойду, а глупости от меня никакой не дождёшься, — сказала Марьяна, не отворачивая лица.

— Что замуж пойдёшь? Замуж — не наша власть. Ты сама полюби, Марьянушка, — говорил Лукашка, вдруг из мрачного и рьяного сделавшись опять коротким, покорным и нежным, улыбаясь и близко глядя в её глаза.

Марьяна прижалась к нему и крепко поцеловала его в губы.

— Братец! — прошептала она, порывисто прижимая его к себе. Потом вдруг, вырвавшись, побежала и, не оборачиваясь, повернула в ворота своего дома.

Несмотря на просьбы казака подождать ещё минутку, послушать, что он ей скажет, Марьяна не останавливалась.

— Иди! Увидят! — проговорила она. — Вон и то, кажись, постоялец наш, чёрт, по двору ходит.



«Хорунжиха! — думал себе Лукашка: — замуж пойдёт! Замуж сам собой, а ты полюби меня».

Он застал Назарку у Ямки и, с ним вместе погуляв, пошёл к Дуняшке и, несмотря на её неверность, ночевал у неё.

XIV

Действительно, Оленин ходил по двору в то время, как Марьяна прошла в ворота, и слышал, как она сказала: «Постоялец-то, чёрт, ходит». Весь этот вечер провёл он с дядей Ерошкой на крыльце своей новой квартиры. Он велел вынести стол, самовар, вино, зажжённую свечу и за стаканом чая и сигарой слушал рассказы старика, усевшегося у его ног на приступочке. Несмотря на то, что воздух был тих, свеча плыла и огонь метался в разные стороны, освещая то столбик крылечка, то стол и посуду, то белую, стриженую голову старика. Ночные бабочки вились и, сыпля пыль с крылышек, бились по столу и в стаканах, то влетали в огонь свечей, то исчезали в чёрном воздухе, вне освещённого круга. Оленин выпил с Ерошкой вдвоём пять бутылок чихиря. Ерошка всякий раз, наливая стаканы, подносил один Оленину, здороваясь с ним, и говорил без усталости. Он рассказывал про старое житьё казаков, про своего батюшку *Широкоего*, который один на спине приносил кабанью тушу в десять пуд и выпивал в один присест два ведра чихирю. Рассказал про своё времечко и своего няню¹ Гирчика, с которым он из-за Тереку во время чумы бурки переправлял. Рассказал про охоту, на которой он в одно утро двух оленей убил. Рассказал про свою *душеньку*, которая за ним по ночам на кордон бегала. И всё это так красноречиво и живописно рассказывалось, что Оленин не замечал, как проходило время.

— Так-то, отец ты мой,— говорил он,— не застал ты меня в моё золотое времечко, я бы тебе всё показал. Нынче Ерошка кувшин облизал, а то Ерошка по всему полку гремел. У ко-

¹ Няней называется в прямом смысле всегда старшая сестра, а в переносном «няней» называется друг. (Прим. Л. Н. Толстого.)

го первый конь, у кого шашка гурда¹, к кому выпить пойти, с кем погулять? Кого в горы послать, Ахмет-хана убить? Всё Ерощка. Кого девушки любят? Всё Ерощка отвечал. Потому что я настоящий джигит был. Пьяница, вор, табуны в горах отбивал, песенник... на все руки был. Нынче уж и казаков таких нету. Глядеть скверно. От земли вот (Ерощка указал на аршин от земли), сапоги дурацкие наденет, всё на них смотрит, только и радости. Или пьян надуется; да и напьётся не как человек, а так что-то. А я кто был? Я был Ерощка вор; меня, мало по станциям,— в горах-то знали. Кунаки-князья приезжали. Я, бывало, со всеми кунак: татарин — татарин, армяшка — армяшка; солдат — солдат, офицер — офицер. Мне всё равно, только бы пьяница был. Ты, говорит, очиститься должен от мира сообщенья: с солдатом не пей, с татаринном не ешь.

— Кто это говорит? — спросил Оленин.

— А уставщики* наши. А муллу или кадия татарского послушай. Он говорит: «Вы неверные, гяуры, зачем свинью едите?» Значит, всякий свой закон держит. А по-моему, всё одно. Всё бог сделал на радость человеку. Ни в чём греха нет. Хотя с зверя пример возьми. Он и в татарском камыше, и в нашем живёт. Куда придёт, там и дом. Что бог дал, то и лопает. А наши говорят, что за это будем сквороды лизать. Я так думаю, что всё одна фальшь,— прибавил он, помолчав.

— Что фальшь? — спросил Оленин.

— Да что уставщики говорят. У нас, отец мой, в Червлёной, войсковой старшина — кунак мне был. Молодец был, как и я, такой же. Убили его в Чечнях. Так он говорил, что это все уставщики из своей головы выдумывают. Сдохнешь, говорит, трава вырастет на могилке, вот и всё.— Старик засмеялся.— Отчаянный был.

— А сколько тебе лет? — спросил Оленин.

— А бог е знает! Годов семьдесят есть. Как у вас царьца была, я уже не махонький был. Вот ты и считай, много ли будет. Годов семьдесят будет?

— Будет. А ты ещё молодец.

¹ Шашки и кинжалы, дороже всего ценимые на Кавказе, называются по мастеру — Гурда. (Прим. Л. Н. Толстого.)

— Что же, благодарю́ бога, я здоров, всем здоров; то́лько ба́ба ве́дьма испóртила...

— Как?

— Да так испóртила...

— Так, как умрёшь, трава́ вырастет? — повторил Оленин. Ерóшка, видимо, не хотёл ясно вы́разить свою́ мысль. Он помолча́л немно́го.

— А ты как ду́мал? Пей! — закрича́л он, улыба́ясь и поднося́ вино́.

XV

— Так о чём, бишь, я говори́л? — продолжа́л он, припоминая.— Так вот я како́й челове́к! Я охóтник. Прóтив меня́ друго́го охóтника по полку́ не́ту. Я тебе́ всякого зве́ря, всяку́ пти́цу найду́ и укажу́; и что и где — всё зна́ю. У меня́ и соба́ки есть, и два ружья́ есть, и се́ти, и кобы́лка, и ястреб — всё есть, благодарю́ бога. Ко́ли ты настоя́щий охóтник, не хва́стаешь, я тебе́ всё покажу́. Я како́й челове́к? След найду́, — уж я его́ зна́ю, зве́ря, и зна́ю, где ему́ лечь и куда́ пить и́ли валя́ться придёт. Лопáзик¹ сде́лаю, и сижу́ ночь, карау́лю. Что до́ма-то сиде́ть! То́лько нагреси́шь, пьян наду́ешься. Ещѐ ба́бы тут придут, та́ры да ба́ры; мальчи́шки крича́т; угори́шь ещѐ. То ли де́ло на зóрьке вы́йдешь, местечко́ вы́берешь, камы́ш прижмѐшь, сяде́шь и сиди́шь, до́брый мо́лодец, дожидáешься. Всѐ-то ты зна́ешь, что в лесу́ де́лается. На не́бо взгляне́шь, — звѐздочки хо́дят, рассма́триваешь по ним, гляди́, вре́мени мно́го ли. Круго́м погляди́шь, — лес шелыхáется, всё жде́шь, вот-вот затре́щит, придёт каба́н ма́заться. Слу́шаешь, как там орлы́ молодые́ запища́т, петухи́ ли в станице́ откля́кнутся и́ли гу́си. Гу́си — так до по́лночи, зна́чит. И всё э́то я зна́ю. А то как ружьѐ, где далече́ уда́рит, мы́сли придут. Подума́ешь: кто э́то стрели́л? Каза́к, так же как я, зве́ря вы́ждал, и попал ли он его́ и́ли так то́лько испóртил, и пойдёт серде́чный по камы́шу кровь ма́зать, так, да́ром. Не люблю́! ох, не люблю́! За́чем зве́ря испóртил? Дура́к! Дура́к! Или ду́маешь себе́:

¹ Лопáзик — назывáется ме́сто для сидѐнья на столба́х и́ли дере́вьях. (Прим. Л. Н. Толсто́го.)

«Может, абрѣк како́го казачо́нка глупо́го убил». Все́ это в го-
ловѣ у тебя́ ходит. А то раз, сидѣл я на водѣ, смотрю, зыбка
свѣрху плывѣт. Во́все цѣлая, то́лько край отло́ман. То-то мы́сли
пришли́. Чья така́я зыбка? Должно́, ду́маю, ва́ши чѣрти солда́-
ты в ау́л пришли́, чече́нок побра́ли, ребѣночка убил како́й
чѣрт: взял за но́жки, да об уго́л. Ра́зве не де́лают та́к-то? Эх,
души́ нет в лю́дях! И таки́е мы́сли пришли́, жа́лко ста́ло.
Ду́маю: зы́бку броси́ли и ба́бу угна́ли, дом сожгли́, а джигит
взял ружьѣ, на на́шу сто́рону поше́л гра́бить. Все́ сиди́шь,
ду́маешь. Да как заслы́шишь, по ча́ще табуно́к ло́мится, так
и застучи́т в тебе́ что. Ма́тушки, подо́йдите! Обню́хают, ду́-
маешь себе́; сиди́шь, не дро́гнешься, а се́рдце: дун! дун! дун!
так тебя́ и подки́дывает. Ны́нче весно́й та́к-то подоше́л табу́н
ва́жный, зачерне́лся. «Отцу́ и сы́ну...» — уж хоте́л стрели́ть.
Как она́ фы́ркнет на сво́их на порося́т: «Беда́, мол, дѣтки: че-
лове́к сиди́т», — и затреща́ли все прочь по куста́м. Так так бы,
ка́жется, зу́бом съел её.

— Как же это сви́нья порося́там сказа́ла, что челове́к си-
ди́т? — спроси́л Оле́нин.

— А ты как ду́мал? Ты ду́мал, он дура́к, зве́рь-то? Нет, он
умне́й челове́ка, да́ром что сви́нья называ́ется. Он все́ знает.
Хоть то в приме́р возьми́: челове́к по сле́ду пройде́т, не заме́-
тит, а сви́нья как наткне́тся на твой след, так сейча́с отду́ет
и прочь; зна́чит, ум в ней есть, что ты свою́ вонь не чу́ствуешь,
а она́ слы́шит. Да и то сказа́ть: ты её уби́ть хо́чешь, а она́ по
лесу жива́я гуля́ть хо́чет. У тебя́ тако́й зако́н, а у неё тако́й
зако́н. Она́ сви́нья, а все́ она́ не ху́же тебя́; така́я же тварь
бо́жия. Эхма́! Глуп челове́к, глуп, глуп челове́к! — повто́рил
не́сколько раз стари́к и, опу́стив го́лову, задума́лся.

Оле́нин то́же задума́лся и, спу́стившись с крыльца́, зало-
жив ру́ки за спину, мо́лча стал ходи́ть по́ двору.

Очну́вшись, Еро́шка по́днял го́лову и нача́л приста́льно
всматрива́ться в но́чных ба́бочек, кото́рые ви́лись над колыха́в-
шимся огне́м свечи́ и попада́ли в него́.

— Ду́ра, ду́ра! — заговори́л он. — Куда́ лети́шь? Ду́ра!
Ду́ра! — Он приподня́лся и сво́ими то́лстыми па́льцами стал
отгона́ть ба́бочек.

— Сгори́шь, ду́рочка, вот сю́да лети́, ме́ста мно́го, — при-

говáривал он нѣжным гóлосом, старáясь своими тóлстыми пáльцами учтíво поймáть её за крылышки и вы́пустить. — Самá себя гúбишь, а я тебя жалéю.

Он дóлго сидѣл, болтáя и попивáя из бутýлки. А Олѣнин ходíл взад и вперед по́ двору. Вдруг шѣпот за ворóтами пора-зíл его. Невóльно притаíв дыхáние, он расслы́шал жѣнский смех, мужскóй гóлос и звýк поцелýя. Нарóчно шуршá по тра-вѣ ногáми, он отошѣл на другúю стóрону двора́. Но чѣрез нѣсколько врѣмени плетѣнь затрещáл. Каза́к, в тѣмной черкѣс-ке и бѣлом *курпѣе* * на ша́пке (это́ был Лукá), прошѣл вдоль забóра, а вы́сокая жѣнщина в бѣлом платкѣ прошлá мíмо Олѣнина. «Ни мне до тебя́, ни тебе́ до меня́ нет никакóго дѣ-ла», — казáлось, сказа́ла ему́ решíтельная похóдка Марья́нки. Он проводíл её глазáми до крыльцá хозяйскóй хáты, замѣтил дáже чѣрез окнó, как она́ снялá платóк и сѣла на лáвку. И вдруг чúвство тоскí, оди́нчества, какíх-то нея́сных желáний и надѣжд и какóй-то к кому́-то зáвисти охвати́ло дúшу мо-лодóго чело́века.

Послѣдние огнí потúхли в хáтах. Послѣдние звýки затíхли в стáнице. И плетнí, и белѣвшая на двора́х скотíна, и крýши домóв, и стрóйные райны, — всё, казáлось, спáло здоровым, тíхим, трудовым сном. Тóлько звеня́щие непрерýвные звýки лягушек долетáли из сырóй дáли до напряжѣнного слúха. На востóке звѣзды становíлись рѣже и, казáлось, расплывáлись в усíлившемся свѣте. Над головóй онí высыпа́ли всё глúбже и чáще. Старíк, облокотíв гóлову на́ руку, задремáл. Петúх вскрикнул на противополо́жном дворе́. А Олѣнин всё ходíл и ходíл, о чѣм-то дúмая. Звук пѣсни в нѣсколько гóлосóв до-летѣл до его́ слúха. Он подошѣл к забóру и стал прислу́ши-ваться. Молоды́е гóлосá каза́ков залива́лись весѣлою пѣсней, и изо всех рѣзкою сíлой выдава́лся одíн молодóй гóлос.

— Это́ зна́ешь, кто поѣт? — сказа́л старíк, очнúвшись. — Это́ Лукáшка джигít. Он чечѣнца убíл; то́-то и рáдуется. И чѣму́ рáдуется? Дура́к, дура́к!

— А ты убивáл людѣй? — спросíл Олѣнин.

Старíк вдруг подня́лся на óба лóктя и блíзко придвíнул своѣ лицó к лицú Олѣнина.

— Чѣрт! — закричáл он на него́. — Чтó спра́шиваешь? Го-

ворить не надо. Душу загубить мудрено, ох, мудрено! Прощай, отец мой, и сыт и пьян,—сказал он вставая.—Завтра на охоту приходите?

— Приходи.

— Смотри, раньше вставать, а проспичь — штраф.

— Небось раньше тебя встану,—отвечал Оленин.

Старик пошел. Песня замолкла. Послышались шаги и веселый говор. Немного погодя раздалась опять песня, но дальше, и громкий голос Ерощки присоединился к прежним голосам. «Что за люди, что за жизнь!» — подумал Оленин, вздохнул и один вернулся в свою хату.

XVI

Дядя Ерощка был заштатный и одинокий казак; жена его лет двадцать тому назад, выкрестившись в православные, сбежала от него и вышла замуж за русского фельдфебеля; детей у него не было. Он не хвастал, рассказывая про себя, что был в старину первый молодец в станице. Его все знали по полку за его старинное молодечество. Не одно убийство и чеченцев, и русских было у него на душе. Он и в горы ходил, и у русских воровал, и в остроге два раза сидел. Большая часть его жизни проходила на охоте в лесу, где он питался по суткам одним куском хлеба и ничего не пил, кроме воды. Зато в станице он гулял с утра до вечера. Вернувшись от Оленина, он заснул часа на два и, еще до света проснувшись, лежал на своей кровати и обсуживал человека, которого он вчера узнал. Простота Оленина очень понравилась ему (простота в том смысле, что ему не жалели вина). И сам Оленин понравился ему. Он удивлялся, почему русские все *просты* и богаты и отчего они ничего не знают, а все ученые. Он обдумывал сам с собою и эти вопросы, и то, чего бы выпросить себе у Оленина. Хата дяди Ерощки была довольно большая и не старая, но заметно было в ней отсутствие женщины. Вопреки обычной заботливости казаков о чистоте, горница вся была загажена и в величайшем беспорядке. На столе были брошены окровавленный зипун, половина сдобной лепешки и рядом с ней

ощипанная и разбóванная гáлка для прикармливания ястреба. На лáвках, разбóранные, лежали поршни, ружьё, кинжáл, мешóчек, мóкрое плáтье и тряпки. В углу, в кадúшке с грязною вонючею водо́й, размокали другíе поршни; тут же стояла винтóвка и кобы́лка. На полу была брóшена сеть, нёсколько убитых фазáнов, а óколо столá гуляла, постукивая по грязному полу, привязанная за ногу кúрочка. В нетóпленной пёчке стоял черепóчек, напóлненный какою-то молóчною жидкостью. На пёчке визжáл кóпчик, старáвшийся сорвáться с верёвки, и линялый ястреб смíрно сидёл на краю, íскося поглядывая на кúрочку и íзредка справа налево перегибая гóлову. Сам дядя Ерóшка лежал навзничь на корóтенькой кровáти, устроённой мёжду стено́й и пёчкой, в одной рубáшке, и, задрáв сильные нóги на пёчку, колупáл толстым пáльцем стру́пы на руках, испарáнных ястребом, котóрого он вынашивал без перчатки. Во всей кóмнате и особённо óколо самогó старикá вóздух был пропитан тем сильным, не неприятным, смéшанным запахом, котóрый сопúтствовал старику́.

— *Уйде-мá, дядя?* (то есть дóма, дядя?) — слышался ему́ из окнá рёзкий гóлос, котóрый тóтчас призна́л за гóлос сосёда Лукáшки.

— *Уйдé, уйдé, уйдé!* Дóма, заходí! — закричáл старик. — Сосёд Мáрка, Лукá Мáрка, что к дяде пришёл? Аль на кордóн?

Ястреб встрепену́лся от крика хозя́ина и захлопал крыльями, порывáясь на своёй привязи.

Старик любíл Лукáшку, и лишь одногó его́ исключáл из презрénия ко всему́ молодóму поколénию казáков. Крóме тогó, Лукáшка и его́ мать, как сосёды, нерёдко давали старику́ вина́, каймачку и т. п. из хозяйственных произведénий, котóрых нё было у Ерóшки. Дядя Ерóшка, всю жизнь свою́ увлекáвшийся, всегда́ практически объяснял свой побуждénия: «Что ж? лю́ди достáточные,— говорíл он сам себе.— Я им свежíнки дам, кúрочку, а и онí дядю не забывают: пирожкá и лепёшки принесúт другóй раз».

— Здорóво, Мáрка! Я тебе́ рад,— вёсело прокричáл старик и бы́стрым движénием скинул босые нóги с кровáти, вскочил, сдéлал шагá два по скрипúчему полу, посмотрёл на свой



вывернутые ноги, и вдруг ему смешно стало на свои ноги: он усмехнулся, топнул раз босую пяткой, ещё раз, и сделал *выходку*. — Ловко, что ль! — спросил он, блестя маленькими глазками. — Лукашка чуть усмехнулся. — Что, аль на кордон? — сказал старик.

— Тебе чихирю принёс, дядя, что на кордоне обещал.

— Спаси тебя Христос, — проговорил старик, поднял валившиеся на полу чамбары * и бешмет, надел их, затянул ремнём, полил воды из черепка на руки, отёр их о старые чамбары, кусочком гребешка расправил бороду и стал перед Лукашкой. — Готов! — сказал он.

Лукашка достал чапuru, отёр, налил вина и, сев на скамейку, поднёс дяде.

— Будь здоров! Отцу и сыну! — сказал старик, с торжественностью принимая вино. — Чтобы тебе получить, что желаешь, чтобы тебе молодцом быть, крест выслужить!

Лукашка тоже с молитвою отпил вина и поставил его на стол. Старик встал, принёс сушёную рыбу, положил на порог, разбил её палкой, чтоб она была мягче, и, положив её своими заскоруждыми руками на свою единственную синюю тарелку, подал на стол.

— У меня всё есть, и закуски есть, благодарю бога, — сказал он гордо. Ну, что Мосев? — спросил старик.

Лукашка рассказал, как урядник отнял у него ружьё, видимо желая знать мнение старика.

— За ружьём не стой, — сказал старик, — ружья не дашь, награды не будет.

— Да что, дядя! Какая награда, говорят, малолётку? ¹ А ружьё важное, крымское, восемьдесят монетов стоит.

— Э, брось! Так-то я заспорил с сотником: коня у меня просил. Дай, говорит, коня в хорунжии представлю. Я не дал, так и не вышло.

— Да что, дядя! Вот коня купить надо, а бают, за рекой меньше пятидесяти монетов не возьмёшь. Матушка вина ещё не продала.

— Эх! мы не тужили, — сказал старик, — когда дядя

¹ Малолётками называются казаки, не начавшие ещё действительной конной службы. (Прим. Л. Н. Толстого.)

Ерóшка в твой годá был, он уж табунý у ногáйцев воровáл, да за Тéрек перегонял. Бывáло, вáжного коня за штоф вóдки áли за бýрку отдаёшь.

— Что же дешёво отдавáли? — сказа́л Лука́шка.

— Дура́к, дура́к, Ма́рка! — презрительно сказа́л старик. — Нельзя́, на то ворóуешь, что́бы не скупым быть. А вы, я чай, и не видáли, как коней-то гоняют. Что молчи́шь?

— Да что говорíть, дядя? — сказа́л Лука́шка. — Не та́кие мы, ви́дно, лю́ди.

— Дура́к, дура́к, Ма́рка! Не та́кие лю́ди! — отвеча́л старик, передра́звивая молодóго каза́ка. — Не тот я был каза́к в гвой го́ды.

— Да что же? — спроси́л Лука́шка.

Старик презрительно покача́л голово́й.

— Дядя Ерóшка *прост* был, ниче́го не жалéл. Зато у меня́ вся Чечня́ кунаки́ бы́ли. Приéдет ко мне ка́кой кунáк, вóдкой пьяного напою́, ублажу́, с собо́й спать положу́, а к нему́ поеду́, подаро́к, *пешкеш*, свезу́. Та́к-то лю́ди де́лают, а не то что как тепе́рь: то́лько и забáвы у ребя́т, что се́мя грызут да шелуху́ плюю́т, — презрительно заклю́чил старик, представляя в лица́х, как грызут се́мя и плюю́т шелуху́ ны́нешние каза́ки.

— Это я зна́ю, — сказа́л Лука́шка. — Это так!

— Хо́чешь быть молодцо́м, так будь джиги́т, а не мужи́к. А то и мужи́к ло́шадь купи́т, дене́жки отва́лит и ло́шадь возьме́т.

Они́ помолча́ли.

— Да ведь и так скучно, дядя, в стани́це и́ли на кордо́не; а разгуля́ться поехать не́куда. Все́ наро́д ро́бкий. Вот хоть бы Наза́р. Намедни в ау́ле бы́ли; так Гирей-хан в Нога́и звал за коня́ми, никто́ не поехал; а одному́ как же?

— А дядя что? Ты ду́маешь, я засо́х! Нет, я не засо́х. Давáй коня́, сейча́с в Нога́и поеду́.

— Что пусто́е говорíть? — сказа́л Лука́. — Ты скажи́, как с Гирей-ханом быть? Говоря́т, то́лько проведи́ коня́ до Тéreка, а там хоть кося́к це́лый давáй, ме́сто найду́. Ведь то́же гололо́бый, ве́ритель мудрено́.

— Гирей-хану́ ве́ритель мо́жно, его́ весь род — лю́ди хоро́-

шие; его́ отецъ вѣрный кунáкъ былъ. Тóлько слúшай дядю, я тебя́ хúду не научú: вели́ ему́ клятву взять, тогда́ вѣрно бúдет; а поѣдешь с нимъ, всё пистолѣтъ наготóве держи́. Пúще всего́, как лошаде́й делить стáнешь. Раз меня́ тáк-то убилъ бýло одинъ чеченецъ: я с него́ просилъ по десяти́ монѣтовъ за лóшадь. Вѣ- рить — верь, а без ружья́ спать не ложись.

Лука́шка внимáтельно слúшал старика́.

— А что, дядя? Сказывали, у тебя́ разрýв-травá есть,— мóлвил он, помолчáв.

— Разрýва нет, а тебя́ научú, так и быть: мáлый хоро́ш, старика́ не забывáешь. Научить, что ль?

— Научи́, дядя.

— Черепáху знáешь? Ведь она́ чѣрт, черепáха-то

— Как не знать!

— Найдí ты её́ гнездó и оплети́ плетешóк кругóм, чтоб ей пройти́ нельзя́. Вот она́ придѣтъ, покру́жит и сейчáс назáд; найдѣтъ разрýв-траву́, принесѣтъ, плетень разорýт. Вот ты и поспевай́ на другóе úтро, и смотри́: где разлóмано, тут и разрýв-травá лежитъ. Бери́ и неси́ куда́ хочешь. Не бúдет тебе́ ни замкá, ни заклáдки.

— Да ты пытáл, что ль, дядя?

— Пытáть не пытáл, а сказывали хоро́шие лúди. У меня́ тóлько и заговóра бýло, что прочтú «здравствуйтя», как на коня́ садиться. Никто́ не убилъ.

— Какáя такáя «здравствуйтя», дядя?

— А ты не знáешь? Эх, нарóд! Тó-то, дядю спроси́. Ну слúхай, говори́ за мной:

Здравствуйтя живúчи в Сиóни.

Се царь твой.

Мы сядем на кóни.

Софóние вопи́е,

Захáрие глаго́ле.

Отче Мандрýче

Человéко-вéко-любче.

Вéко-вéко-любче,— повторилъ старикъ.— Знáешь? Ну, скажи́!

Лука́шка засмеялся.

— Да что, дядя, рáзве от э́того тебя́ не убили? Мóже так.

— Умны́ стáли вы. Ты всё выúчи да скажи́. От того́ хúда

не будет. Ну, пропёл «Мандры́че», да и прав,— и старик сам засмеялся.— А ты в Нога́и, Лука́, не е́зди, вот что!

— А что?

— Не то вре́мя, не тот вы наро́д, дерьмо́ каза́ки вы ста́ли. Да и ру́сских вон что нагна́ли! Засу́дят. Пра́во, брось. Куда́ вам! Вот мы с Ги́рчиком, быва́ло...

И старик на́чал бы́ло расска́зывать свои́ бесконечные исто́рии. Но Лука́шка глянул в окно́.

— Во́все светло́, дядя,— переби́л он его́.— Пора́, захо́ди когда́.

— Спаси́ Христо́с, а я к армёйскому пойду́: пообеща́л на охо́ту свести́; челове́к хоро́ш, кажись.

XVII

От Еро́шки Лука́шка заше́л домо́й. Когда́ он верну́лся, сыро́й роси́стый туман подня́лся от земли́ и оку́тал станицу́. Не ви́дная скоти́на начина́ла шевелиться́ с ра́зных концо́в. Ча́ше и напря́женнее переклика́лись петухи́. В во́здухе станови́лось прозра́чно, и наро́д начина́л подниматься́. Подойдя́ вплоть, Лука́шка рассмотре́л мо́крый от тумана́ забор своего́ двора́, крыле́чко ха́ты и отво́ренную клеть. На дворе́ слы́шался в тумáne звук топора́ по дрова́м. Лука́шка прошёл в ха́ту. Ма́ть его́ вста́ла и, сто́я перед пе́чью, броса́ла в неё дрова́. На кровати́ ещё спала́ сестра́-дево́чка.

— Что, Лука́шка, нагуля́лся? — сказа́ла ма́ть ти́хо.— Где был но́чь-то?

— В станице́ был,— неохото́но отвеча́л сын, доставая́ винто́вку из чехла́ и осма́тривая её.

Ма́ть покача́ла голово́й.

Подсы́пав поро́ху на по́лку, Лука́шка доста́л мешо́чек, вы́нул не́сколько пу́стых хозыре́й¹ и стал насы́пать заря́ды, тща́тельно затыка́я их пу́лькой, завёрнутою в тря́почке. По-вы́дергав зу́бом за́ткнутые хозыри́ и осмотре́в их, он положи́л мешо́к.

¹ Х о з ы р ь (газыри́) — здесь: патро́ны.

— А что, матушка, я тебе говорил торбы починить: починила, что ль? — сказал он.

— Как же! Немая чинила что-то вечер. Аль порá на кордон-то? Не видáла я тебя вóвсе.

— Вот только уберусь, и идти надо, — отвечал Лукашка, увязывая порох. — А немая где? Аль вышла?

— Должно, дрова рубит. Всё о тебе сокрушалась. Уж не увижу, говорит, я его вóвсе. Так-то рукой на лицо покажет, щёлкнет да к сердцу и прижмёт руки: жалко, мол. Пойти позвать, что ль? Об абреке-то всё понялá.

— Позови, — сказал Лукашка. — Да сало там у меня было, принеси сюда. Шашку смазать надо.

Старуха вышла, и через несколько минут по скрипящим сходам вошла в хату немая сестра Лукашки. Она была шестью годами старше брата и чрезвычайно была бы похожа на него, если бы не общее всем глухонемым тупое и грубо-перемённое лицо. Одежду её составляла грубая рубаха в заплатах; ноги были босы и испачканы; на голове старый синий платок. Шея, руки и лицо были жилисты, как у мужика. Видно было и по одежде и по всему, что она постоянно несла трудную мужскую работу. Она внесла вязанку дров и бросила её у печи. Потом подошла к брату с радостною улыбкой, сморщившею всё её лицо, тронула его за плечо и начала руками, лицом и всем телом делать ему быстрые знаки.

— Хорошó, хорошó! Молодѐц, Стѐпка! — отвечал брат, кивая головой. — Всё припасла, починила, молодѐц! Вот тебе за то! — И, достав из кармана два пряника, он подал ей.

Лицо немой покраснело, и она дико загудела от радости. Схватив пряники, она ещё быстрей стала делать знаки, часто указывая в одну сторону и проводя толстым пальцем по бровям и лицу. Лукашка понимал её и всё кивал, слегка улыбаясь. Она говорила, что брат дѣвкам давал бы закуски, говорила, что дѣвки его любят и что одна дѣвка, Марьянка, лучше всех, и та любит его. Марьянку она обозначала, указывая быстро на сторону её двора, на свои брови, лицо, чмокающая и качая головой. «Любит» — показывала она, прижимая руку к груди, целуя свою руку и будто обнимая что-то. Мать вернулась в хату и, узнав, о чём говорила немая, улыбнулась

и покачала головой. Немая показала ей пряники и снова прогудела от радости.

— Я Улите говорила намедни, что сватать пришлю,— сказала мать,— приняла мои слова хорошó.

Лукáшка мóлча посмотрёл на мать.

— Да что, мáтушка? Винó нáдо везть. Коня нúжно.

— Повезу, когда время бóдет; бóчки справлю,— сказала мать, вóдимо не желáя, чтóбы сын вмéшивался в хозяйственные дела.— Ты как пойдёшь,— сказала старóха сыну,— так возьми в сенях мешóчек. У людéй заняла, тебе на кордóн припасла. Али в сáквы¹ положить?

— Лáдно,— отвечáл Лукáшка.— А кóли из-за рекí Ги-рей-хан приедет, ты его на кордóн пришлí, а то тепёр долго не отпúстят. До него дéло есть.

Он стал собирáться.

— Пришлю, Лукáша, пришлю. Что ж, у Ямки всё и гуляли, стáло?— сказала старóха.— Тó-то я нóчью вставáла к скотíне, слóшала, рóвно твой гóлос пёсни игрáл.

Лукáшка не отвечáл, вóшел в сéни, перекинул чéрез плечó сýмки, подоткнул зипún, взял ружьё и остановíлся на порóге.

— Прощáй, мáтушка,— сказáл он мáтери, припирая за собóй ворóта.— Ты бочóнок с Назáркою пришлí,— ребятам обещáлся; он зайдёт.

— Спасí тебя Христóс, Лукáша! Бог с тобóй! Пришлю, из нóвой бóчки пришлю,— отвечáла старóха, подхóдя к забóру.— Да слóшай что,— прибáвила она́, перегнóвшись чéрез забóр.

Казáк остановíлся.

— Ты здесь погулял, ну, слáва бóгу! Как молодóму чело-вёку не веселíться? Ну, и бог счáстье дал. Это хорошó. А тáм-то уж смотри, сынóк, не тогó... Пúще всего начáльника убла-жай, нельзя! А я и вина продам, дёнег припасу коня купíть и дёвку вóсватаю.

— Лáдно, лáдно! — отвечáл сын, хмúрься.

Немая крíкнула, чтоб обратíть на себя́ его́ внимáние.

¹ Сáквами назывáются перемётные сýмки, котóрые казáки вóзят за сёдлами. (Прим. Л. Н. Толстóго.)

Показала голову и руки, что значило: бритая голова, чеченец. Потом, нахмурив брови, показала вид, что прицеливается из ружья, вскрикнула и запела скоро, качая головой. Она говорила, чтобы Лукашка ещё убил чеченца.

Лукашка понял, усмехнулся и скороыми, лёгкими шагами, придерживая ружьё за спиной под буркой, скрылся в густом тумане.

Молча постояв у ворот, старуха вернулась в избушку и тотчас же принялась за работу.

XVIII

Лукашка пошёл на кордон, а дядя Ерошка в то же время свистнул собак и, перелёзши через плетень, задыми обошёл до квартиры Оленина (идя на охоту, он не любил встречаться с бабами). Оленин ещё спал, и даже Ванюша, проснувшись, но ещё не вставая, поглядывал вокруг себя и соображал, пора или не пора, когда дядя Ерошка с ружьём за плечами и во всём охотничьем уборе отворил дверь.

— Палок! — закричал он своим густым голосом. — Тревога! Чеченцы пришли! Иван! Самовар барину ставь. А ты вставай! Живо! — кричал старик. — Так-то у нас, добрый человек! Вот уж и девки встали. В окно глянь-ка, глянь-ка, за водой идёт, а ты спишь.

Оленин проснулся и вскочил. И так свежо, весело ему стало при виде старика и звуке его голоса.

— Живо! Живо, Ванюша! — закричал он.

— Так-то ты на охоту ходишь! Люди завтракать, а ты спишь. Лям! Куда? — крикнул он на собаку. — Ружьё-то готово, что ль? — кричал старик, точно целая толпа народа была в избе.

— Ну, провинился, нечего делать. Порох, Ванюша! Пыжи! — говорил Оленин.

— Штраф! — кричал старик.

— *Дю те вулеву?*¹ — говорил Ванюша, ухмыляясь.

— Ты не наш! не по-нашему лопочешь, чёрт! — кричал на него старик, оскаливая корешки своих зубов.

¹ Хотите чаю? (франц.)

— Для пёрвого ра́за проща́ется,— шути́л Оле́нин, натяги-
вая больш́ие сапоги́.

— Проща́ется для пёрвого ра́за,— отвечáл Ерóшка,— а
друго́й раз проспíшь, ведро́ чихиря́ штра́фу. Как обогр́еется,
не застáнешь оле́ня-то.

— Да хоть и застáнешь, так он умне́й нас,— сказа́л Оле́-
нин, повто́ряя слова́ старика́, ска́занные ве́чером,— его́ не
обма́нешь.

— Да ты сме́йся! Вот убей, тогда́ и погово́ри. Ну, живо́!
Смотри́, вон и хозя́ин к тебе́ идёт,— сказа́л Ерóшка, гляде́в-
ший в окно́.— Вишь, убра́лся, но́вый зипу́н надел, что́бы ты
ви́дел, что он офице́р есть. Эх! наро́д, наро́д!

Действительно́, Ваню́ша объяви́л, что хозя́ин желáет ви-
деть ба́рина.

— *Ларжа́н*¹,— сказа́л он глубокомы́сленно, предупрежда́я
ба́рина о значении́ визита́ хору́нжего. Вслед за тем сам хо-
ру́нжий в но́вой черкэ́ске, с офице́рскими пого́нами на плеча́х,
в чи́щенных сапога́х,— ре́дкость у каза́ков,— с улы́бкой на ли-
це́, раска́чиваясь, вошёл в ко́мнату и поздра́вил с прие́здом.

Хору́нжий, Илья́ Васи́льевич, был каза́к *образо́ванный*,
побыва́вший в Росси́и, шко́льный учи́тель и, гла́вное, *благоро́д-
ный*. Он хоте́л каза́ться *благоро́дным*; но нево́льно под
напу́щенным на себя́ уродливым ло́ском вертля́вости, само-
уве́ренности и безобра́зной ре́чи чу́ствовался тот же дядя́
Еро́шка. Это ви́дно бы́ло и по его́ загорело́му лицу́, и по ру-
ка́м, и по красновáтому но́су. Оле́нин попроси́л его́ садиться́.

— Здра́вствуй, ба́тюшка Илья́ Васи́льевич!— сказа́л
Еро́шка, встава́я и, как показáлось Оле́нину, ирониче́ски
ни́зко кла́няясь.

— Здро́во, дядя́! Уж ты тут?— отвечáл хору́нжий, не-
бре́жно кива́я ему́ голово́й.

Хору́нжий был челове́к лет сорока́, с седо́ю клинообра́з-
ною боро́дкой, сухо́й, то́нкий и краси́вый и ещё́ о́чень све́жий
для сво́их сорока́ лет. Придя́ к Оле́нину, он, ви́димо, боя́лся,
что́бы его́ не при́няли за обыкнове́нного каза́ка, и желáл дать
ему́ срáзу почувствовáть своё значе́ние.

¹ Дёньги (*франц.*).

— Это наш *Нимврѳд египетскій*,— сказа́л он, с самодово́льною улы́бкой обра́щаясь к Оле́нину и ука́зывая на старика́.— *Лове́ц пред господи́ном*. Пе́рвый у нас на вся́кие ру́ки. Изво́лили уж узна́ть?

Дядя Еро́шка, глядя на свои но́ги, обу́тые в мо́крые по́ршни, разду́мчиво пока́чивал голово́й, как бы удивля́ясь ло́вкости и учёности хору́нжего, и повто́рял про себя́: «*Нимврѳд гйцкй!* Чего́ не вы́думает?»

— Да вот на охоту́ хоти́м ийти́,— сказа́л Оле́нин.

— Так-с то́чно,— заме́тил хору́нжий,— а у меня́ дельце́ есть к вам.

— Что прика́жете?

— Как вы есть благо́родный челове́к,— нача́л хору́нжий,— и как я себя́ могу́ понима́ть, что мы то́же имее́м зва́ние офице́ра и потому́ постепе́нно мо́жем всегда́ страктова́ться, как и все благо́родные лю́ди. (Он приостанови́лся и с улы́бкой взгляну́л на старика́ и Оле́нина.) Но ежели бы вы имели́ же́лание, по согла́сию моему́, так как моя́ жена́ есть же́нщина глупая́ в на́шем сослови́и, не могла́ в настоя́щее вре́мя вполне́ вразуми́ть ва́ши слова́ вчера́шнего числа́. Потому́ кварта́ра моя́ для полково́го адьюта́нта могла́ ходи́ть без коню́шни за шесть мо́нетов,— а задаро́м я всегда́, как благо́родный челове́к, могу́ удали́ть от себя́. А так как вам же́лается, то я, как сам офице́рского зва́ния, могу́ во все́м согласи́ться лично́ с ва́ми, и как жи́тель здешнего́ кра́я, не то как бы по на́шему обы́чаю, а во все́м могу́ соблюсти́ усло́вия...

— Чисто́ говори́т,— пробормота́л стари́к.

Хору́нжий говори́л ещё́ до́лго в том же ро́де. Изо все́го э́того Оле́нин не без не́которого труда́ мог поня́ть же́лание хору́нжего брать по ше́сти рубле́й серебро́м за кварта́ру в ме́сяц. Он с охото́ю согласи́лся и предложи́л своему́ го́стю стака́н ча́ю. Хору́нжий отка́злся.

— По на́шему глупо́му обря́ду,— сказа́л он,— мы счита́ем как бы за грех употре́блять из мирско́го стака́на. Оно́ хотя́, по образова́нию моему́, я бы мог понима́ть, но жена́ моя́ по сла́бости челове́ческа́я...

— Что ж, прика́жете ча́ю?

— Ежели позво́лите, я свой стака́н принесу́, *особли́вый*,—

отвечал хорунжий и вышел на крыльцо.— Стакан подай!— крикнул он.

Через несколько минут дверь отворилась, и загорелая молодая рука в розовом рукаве высунулась с стаканом из двери. Хорунжий подошёл, взял стакан и шептал что-то с дочерью. Оленин налил чаю хорунжему в *особливый*, Ерощке в *мирской* стакан.

— Однако не желаю вас задерживать,— сказал хорунжий, обжигаясь и допивая свой стакан.— Я как есть тоже имею сильную охоту до рыбной ловли и здесь только на побывке, как бы на рекреации¹ от должности. Также имею желание испытать счастье, не попадутся ли и на мою долю *дары Терека*. Надеюсь, вы и меня посетите когда-нибудь испить *родительского*, по нашему станичному обычаю,— прибавил он.

Хорунжий откланялся, пожал руку Оленину и вышел. Покуда собирался Оленин, он слышал повелительный и толковый голос хорунжего, отдававшего приказания домашним. А через несколько минут Оленин видел, как хорунжий в засученных до колен штанах и в оборванном бешмете, с сётью на плечё прошёл мимо его окна.

— Плут же,— сказал дядя Ерощка, допивавший свой чай из мирского стакана.— Что же, неужели ты ему так и будешь платить шесть монетов? Слыхано ли дело! Лучшую хату в станции за два монета отдадут. Эка бестия! Да я тебе свою за три монета отдам.

— Нет, уж я здесь останусь,— сказал Оленин.

— Шесть монетов! Видно, деньги-то дурашные. Э-эх!— отвечал старик.— Чихирю дай, Иван.

Закусив и выпив водки на дороге, Оленин с стариком вышли вместе на улицу часу в восьмом утра.

В воробьях они наткнулись на запряжённую арбу. Обязанная до глаз белым платком, в бешмете сверх рубахи, в сапогах и с длинною хворостиною в руках, Марьяна тащила быков за привязанную к их рогам верёвку.

— Мамушка!— проговорил старик, делая вид, что хочет схватить её.

¹ Р е к р е а ц и я (рекреация) — здесь: отдых.

Марьянка замахнулась на него хворостинной и весело взглянула на обоих своими прекрасными глазами,

Оленину сделалось ещё веселее.

— Ну, идём, идём!— сказал он, скидывая ружьё на плечо и чувствуя на себе взгляд дёвки.

— Ги! Ги!— прозвучал за ним голос Марьяны, и вслед за тем заскрипела тронувшаяся арба.

Покуда дорога шла задрами станицы, по выгонам, Ерощка разговаривал. Он не мог забыть хорунжего и всё бранил его.

— Да за что же ты так сёрдишься на него?— спросил Оленин.

— Скупой! Не люблю,— отвечал старик.— Издохнет, всё останется. Для кого копит? Два дома построил. Сад другой у брата оттягал. Ведь тоже и по бумажным делам какая собака! Из других станиц приезжают к нему бумаги писать. Как напишет, так как раз и выйдет. В самый раз сделает. Да кому копить-то? Всего один мальчишка да дёвка; замуж отдаст, никого не будет.

— Так на приданое и копит,— сказал Оленин.

— Какое приданое? Дёвку берут, дёвка важная. Да ведь такой чёрт, что и отдать-то ещё за богатого хочет. Калым-большой содрать хочет. Лука есть казак, сосед мне и племянник, молодец малый, что чеченца убил, давно уж сватает; так всё не отдаёт. То, другое да третье; дёвка молодая, говорит. А я знаю, что думает. Хочет, чтобы поклонялись. Нынче что сраму было за дёвку за эту. А всё Лукашке висватают. Потому первый казак в станице, джигит, абрека убил, крест дадут.

— А что это? Я вчера, как по двору ходил, видел, дёвка хозяйская с каким-то казаком целовалась,— сказал Оленин.

— Хвастаешь,— крикнул старик, останавливаясь.

— Ей-богу!— сказал Оленин.

— Баба чёрт,— раздумывая, сказал Ерощка.— А какой казак?

— Я не видал какой.

— Ну, курпей какой на шапке? бёлый?

— Да.

— А зипун краснѣй? С тебя, такой же?

— Нет, побольше.

— Он и есть.— Ерощка захохотал.— Он и есть, Марка мой. Он, Лукашка. Я его Марка зову, шутю. Он самый. Люблю! Такой-то и я был, отец мой. Что на них смотреть-то? Бывало, с матерью, с невесткой спит *душенька-то* моя, а я всё влѣзу. Бывало— жилá она высоко; мать ведьма была, чёрт, страсть не любила меня,— приду, бывало, с *няней* (друг значит), Гирчиком звали. Приду под окно, ему на плечá влѣзу, окно подниму, да и ошариваю. Она тут на лавке спала. Раз так-то взбудил её. Она как взáхается! Меня не узнала. Кто это? А мне говорить нельзя. Уж было мать заворошилась. Я шапку снял, да в мурло ей и сунул: так сразу узнала по рубцу, что на шапке был. Выскочила. Бывало, ничего-то не нужно. И каймаку тебе, и винограду, всего натащит,— прибавил Ерощка, объяснявший всё практически.— Да не одна была. Житьё бывало.

— А теперъ что ж?

— А вот пойдём за собакой, фазана на дерево посадим, тогда стреляй.

— Ты бы за Марьянкой поволочился?

— Ты смотри на собак-то. Вечером докажу,— сказал старик, указывая на своего любимца Ляма.

Они замолкли.

Пройдя шагов сто в разговорах, старик опять остановился и указал на хворостинку, которая лежала через дорогу.

— Ты это что думаешь?— сказал он.— Ты думаешь, это так? Нет. Это палка дурно лежит.

— Чем же дурно?

Он усмехнулся.

— Ничего не знаешь. Ты слушай меня. Когда так палка лежит, ты через неё не шагай, а или обойди, или скинь так-то с дороги да молитву прочти: «Отцу и сыну и святому духу», и иди с богом. Ничего не сделает. Так-то старики ещё меня учили.

— Ну, что за вздор,— сказал Оленин.— Ты расскажи лучше, про Марьяну. Что ж, она гуляет с Лукашкой?

— Ши! Теперъ молчи,— опять шёпотом прервал старик этот разговор,— только слушай. Кругом вот лесом пойдём.

И старик, неслышно ступая в своих поршнях, пошёл вперёд по узкой дорожке, входившей в густой, дикий, заросший лес. Он несколько раз, морщась, оглядывался на Оленина, который шуршал и стучал своими большими сапогами и, неосторожно неся ружьё, несколько раз цеплял за ветки деревьев, разросшихся по дороге.

— Не шуми, тише иди, солдат! — сердито шепотом говорил он ему.

Чувствовалось в воздухе, что солнце встало. Туман расходился, но ещё закрывал вершины леса. Лес казался страшно высоким. При каждом шаге вперёд местность изменялась. Что казалось деревом, то оказывалось кустом; камышинка казалась деревом.

XIX

Туман частью поднимался, открывая мокрые камышовые крыши, частью превращался в росу, увлажняя дорогу и траву около заборов. Дым везде валил из труб. Народ выходил из станиц — кто на работы, кто на реку, кто на кордоны. Охотники шли рядом по сырой, поросшей травой дороге. Собаки, махая хвостами и оглядываясь на хозяина, бежали по сторонам. Мириады комаров вились в воздухе и преследовали охотников, покрывая их спины, глаза и руки. Пахло травой и лесною сыростью. Оленин беспрестанно оглядывался на арбу, в которой сидела Марьянка и хворостинной подгоняла быков.

Было тихо. Звуки станицы, слышные прежде, теперь уже не доходили до охотников; только собаки трещали по тернам, и изредка откликались птицы. Оленин знал, что в лесу опасно, что абреки всегда скрываются в этих местах. Он знал тоже, что в лесу для пешехода ружьё есть сильная защита. Не то, чтоб ему было страшно, но он чувствовал, что другому на его месте могло быть страшно, и, с особенным напряжением вглядываясь в туманный, сырой лес, вслушиваясь в редкие слабые звуки, перехватывал ружьё и испытывал приятное и новое для него чувство. Дядя Ерошка, идя вперёд, при каждой луже, на которой были двойчатые следы зверя, останав-

ливался и, внимáтельно разглядывая, ука́зывал их Оленину. Он почти не говорил, только изредка и шёпотом делал свои замечания. Доро́га, по кото́рой они шли, была́ когда-то прое́зжена арбóй и давно́ заросла́ травóй. Карага́чевый и чина́ровый лес с обе́их сторо́н был так густ и зарóсл, что ничего́ нельзя́ бы́ло видеть че́рез него́. Почти́ ка́ждое де́рево бы́ло обвито́ свёрху до́низу ди́ким виногра́дником; внизú гúсто рос тёмный терно́вник. Ка́ждая ма́ленькая поля́нка вся заросла́ ежеви́чником и камышо́м с се́рыми коле́блющимися маха́лками. Места́ми больш́е звери́ные и ма́ленькие, как туннели, фазáньи трóпы сходи́ли с доро́ги в ча́щу ле́са. Си́ла расти́тельности э́того не проб́итого ското́м ле́са на ка́ждом шагу́ поража́ла Оленина, кото́рый не ви́дал ещё́ ничего́ подобно́го. Э́тот лес, опа́сность, стари́к со сво́им тайнственны́м шёпотом, Марья́нка с сво́им му́жественным стро́йным ста́ном и го́ры — всё э́то каза́лось сном Оленину.

— Фазáна посади́л,— прошепта́л стари́к, огля́дываясь и надвига́я себе́ на лицо́ ша́пку.— Мурло́-то закро́й: фазáн,— он серд́ито махну́л на Оленина и полёз да́льше, почти́ на четвере́ньках,— мурла́ челове́чьего не лю́бит.

Оленин ещё́ был сза́ди, когда́ стари́к остано́вился и стал огля́дывать де́рево. Пету́х *тордо́кнул* с де́рева на соба́ку, ла́явшую на него́, и Оленин уви́дал фазáна. Но в то же вре́мя разда́лся вы́стрел, как из пу́шки, из здоро́вненного ружья́ Еро́шки, и пету́х вспорхну́л, теря́я пе́рья, и упáл на́земь. Подходя́ к старику́, Оленин спугну́л друго́го. Вы́простав ружье́, он повёл и уда́рил. Фазáн взвил́ся коло́м кве́рху и потóм, как ка́мень, цепля́ясь за ве́тки, упáл в ча́щу.

— Молоде́ц!— смея́сь, прокрича́л стари́к, не уме́вший стреля́ть влёт.

Подобра́в фазáнов, они́ пошли́ да́льше. Оленин, возбужде́нный движе́нием и похва́ло́й, всё заговáривал с стари́ком.

— Стой! Сюда́ пойдём,— переби́л его́ стари́к,— вчера́ тут оле́ний след ви́дал.

Сверну́в в ча́щу и пройдя́ шаго́в три́ста, они́ выбра́лись на поля́нку, порóсшую камышо́м и места́ми за́литую водо́й. Оленин всё отстава́л от ста́рого охо́тника, и дядя́ Еро́шка, шага́х в двадца́ти впе́редí его́, нагну́лся, значите́льно кива́я

и махая ему рукой. Добравшись до него, Оленин увидал след ноги человека, на который ему указывал старик.

— Видишь?

— Вижу. Что ж?— сказал Оленин, стараясь говорить как можно спокойнее.— Человека след.

Невольно в голове его мелькнула мысль о Куперовом Патфайндере и абреках, а глядя на таинственность, с которою шёл старик, он не решался спросить и был в сомнении, опасность или охота причиняли эту таинственность.

— Не, это мой след,— просто ответил старик и указал траву, под которою был виден чуть заметный след зверя.

Старик пошёл дальше. Оленин не отставал от него. Пройдя шагов двадцать и спускаясь книзу, они пришли в чащу, к разлапистой груше, под которою земля была чёрная и оставался свежий звериный помёт.

Обвитое виноградником место было похоже на крытую уютную беседку, тёмную и прохладную.

— Утром тут был,— вздохнув, сказал старик,— видеть, логово отпотело, свежо.

Вдруг страшный треск послышался в лесу, шагах в десяти от них. Оба вздрогнули и схватились за ружья, но ничего не видно было; только слышно было, как ломались сучья. Равномерный, быстрый топот галопа послышался на мгновение, из треска перешёл в гул, всё дальше, дальше, шире и шире разносившийся по тихому лесу. Что-то как бы оборвалось в сердце Оленина. Он тщётно всматривался в зелёную чащу и наконец оглянулся на старика. Дядя Ерощка, прижав ружьё к груди, стоял неподвижно; шапка его была сбита назад, глаза горели необыкновенным блеском, и открытый рот, из которого злобно выставлялись съеденные жёлтые зубы, замер в своём положении.

— Рогаль,— проговорил он. И отчаянно, бросив наземь ружьё, стал дёргать себя за седую бороду.— Тут стоял! С дорожки подойти бы! Дурак! Дурак!— И он злобно ухватил себя за бороду.— Дурак! Свинья!— твердил он, больно дёргая себя за бороду. Над лесом в тумане как будто пролетело что-то; всё дальше и дальше, шире и шире гудел бег поднятого оленя...

Уж сýмерками Оленин верну́лся с стариком, устáлый, голóдный и сýльный. Обед был готóв. Он поел, вы́пил с стариком, так что ему́ стáло тепло́ и вёсело, и вы́шел на крылечко. Опять перед гла́зами подымáлись гóры на закáте. Опять старик рассказывал свой бесконечные истóрии про охóту, про абрёков, про дýшенек, про беззабóтное, удало́е житьё. Опять Марьяна красáвица входила, выходила и переходила чéрез двор. Под рубáхой обозначáлось могúчее дéвственное тéло красáвицы.

XX

На друго́й день Оленин без старика́ пошёл оди́н на то мéсто, где он с стариком спугну́л оленя. Чем обходить в ворóта, он перелёз, как и все дéлали в станице, чéрез ограду колю́чек. И ещё не успел отодрáть колю́чек, зацепившихся ему́ за черкёску, как собáка его́, побежáвшая вперёд, подняла́ ужé двух фазáнов. Тóлько что он вошёл в тёрны, как стáли что ни шаг поднимáться фазáны. (Старик не показáл ему́ вчера́ этóго мéста, чтóбы приберечь его́ для охóты с кобы́лкой.) Оленин убил пять штук фазáнов из двена́дцати вы́стрелов и, лáзая за ними по тёрнам, измúчился так, что пот лил с него́ гра́дом. Он отозвáл собáку, спусти́л курки́, положи́л пу́ли на дробь и, отма́хиваясь от комарóв рукава́ми черкёски, тихóнько пошёл ко вчера́шнему мéсту. Одна́ко нельзя́ бýло удержáть собáку, на сáмой доро́ге набегáвшей на следы́, и он убил ещё па́ру фазáнов, так что, задержáвшись за ними, он тóлько к полдню́ стал узнава́ть вчера́шнее мéсто.

День был соверше́нно ясный, ти́хий, жа́ркий. Утренняя све́жесть да́же в лесу́ пересóхла, и мириа́ды комарóв буквально облепля́ли лицó, спи́ну и ру́ки. Собáка сде́лалась сивою́ из чёрной: спи́на её вся была́ покрýта комарáми. Черкёска, чéрез котóрую они́ пропуска́ли свой жа́лы, стáла тако́ю же. Оленин готóв был бежáть от комарóв; ему́ уж казáлось, что лéтом и жить нельзя́ в станице. Он ужé шёл домо́й; но, вспóмнив, что живу́т же лю́ди, реши́лся вы́терпеть и стал отдава́ть себя́ на съедение. И, стра́нное дéло, к полдню́ этó ощущение стáло ему́ да́же приятно́. Ему́ показáлось да́же, что

ежели бы не было этой окружающей его со всех сторон комариной атмосферы, этого комариного теста, которое под рукой размазывалось по потному лицу, и этого беспокойного зуда по всему телу, то здешний лес потерял бы для него свой характер и свою прелесть. Эти мириады насекомых так шли к этой дикой, до безобразия богатой растительности, к этой бездне зверей и птиц, наполняющих лес, к этой тёмной зелени, к этому пахучему, жаркому воздуху, к этим канавкам мутной воды, вездé просачивающейся из Терека и бульбукующей где-нибудь под нависшими листьями, что ему стало приятно именно то, что прежде казалось ужасным и нестерпимым. Обойдя то место, где вчера он нашёл зверя, и ничего не встретив, он захотел отдохнуть. Солнце стояло прямо над лесом и беспрестанно, в отвес, доставало ему спину и голову, когда он выходил в поляну или дорогу. Семь тяжёлых фазанов до боли оттягивали ему поясницу. Он отыскал вчерашние следы олёня, подобрался под куст в чащу, в то самое место, где вчера лежал олень, и улёгся у его логова. Он осмотрел кругом себя тёмную зелень, осмотрел потное место, вчерашний помёт, отпечаток коленей олёня, клочок чернозёма, оторванный оленем, и свои вчерашние следы. Ему было прохладно, уютно; ни о чём он не думал, ничего не желал. И вдруг на него нашло такое странное чувство беспечного счастья и любви ко всему, что он, по старой детской привычке, стал креститься и благодарить кого-то. Ему вдруг с особенною ясностью пришло в голову, что вот я, Дмитрий Оленин, такое особенное от всех существо, лежу теперь один, бог знает где, в том месте, где жил олень, старый олень, красивый, никогда,



рванный оленем, и свои вчерашние следы. Ему было прохладно, уютно; ни о чём он не думал, ничего не желал. И вдруг на него нашло такое странное чувство беспечного счастья и любви ко всему, что он, по старой детской привычке, стал креститься и благодарить кого-то. Ему вдруг с особенною ясностью пришло в голову, что вот я, Дмитрий Оленин, такое особенное от всех существо, лежу теперь один, бог знает где, в том месте, где жил олень, старый олень, красивый, никогда,

может быть, не видавший человека, и в таком месте, в котором никогда никто из людей не сидел и того не думал. «Сижу, а вокруг меня стоят молодые и старые деревья, и одно из них обвито плетями дикого винограда; около меня копошатся фазаны, выгоняя друг друга, и чувят, может быть, убитых братьев». Он пощупал своих фазанов, осмотрел их и отёр тепло-окровавленную руку о черкёску. «Чувят, может быть, чакалки и с недобольными лицами пробираются в другую сторону; около меня, пролетая между листьями, которые кажутся им огромными островами, стоят в воздухе и жужжат комары: один, два, три, четыре, сто, тысяча, миллион комаров, и все они что-нибудь и зачем-нибудь жужжат около меня, и каждый из них такой же особенный от всех Дмитрий Оленин, как и я сам». Ему ясно представилось, что думают и жужжат комары. «Сюда, сюда, ребята! Вот кого можно есть», — жужжат они и облепляют его. И ему ясно стало, что он несколько не русский дворянин, член московского общества, друг и родня того-то и того-то, а просто такой же комар, или такой же фазан, или олень, как те, которые живут теперь вокруг него. «Так же, как они, как дядя Ершкка, поживу, умру. И правду он говорит: только трава вырастет».



«Да что же, что трава вырастет? — думал он дальше. — Всё надо жить, надо быть счастливым; потому что я только одного желаю — счастья. Всё равно, что бы я ни был: такой же зверь, как и все, на котором трава вырастет, и больше ничего, или я рамка, в которой вставилась часть единого божества — всё-таки надо жить наилучшим образом. Как же надо жить, чтобы быть счастливым, и отчего я не был счастлив прежде?»

«Да что же, что трава вырастет? — думал он дальше. — Всё надо жить, надо быть счастливым; потому что я только одного желаю — счастья. Всё равно, что бы я ни был: такой же зверь, как и все, на котором трава вырастет, и больше ничего, или я рамка, в которой вставилась часть единого божества — всё-таки надо жить наилучшим образом. Как же надо жить, чтобы быть счастливым, и отчего я не был счастлив прежде?»

И он стал вспоминать свою прошедшую жизнь, и ему стало гадко на самого себя. Он сам представился себе таким требовательным эгоистом, тогда как в сущности ему для себя ничего не было нужно. И всё он смотрел вокруг себя на просвечивающую зелень, на спускающееся солнце и ясное небо и чувствовал всё себя таким же счастливым, как и прежде. «Отчего я счастлив и зачем я жил прежде? — подумал он. — Как я был требователен для себя, как придумывал и ничего не сделал себе, кроме стыда и горя! А вот как мне ничего не нужно для счастья!» И вдруг ему как будто открылся новый свет. «Счастье — вот что, — сказал он сам себе, — счастье в том, чтобы жить для других. И это ясно. В человека вложена потребность счастья; стало быть, она законна. Удовлетворяя её эгоистически, то есть отыскивая для себя богатства, славы, удобств жизни, любви, может случиться, что обстоятельства так сложатся, что невозможно будет удовлетворить этим желаниям. Следовательно, эти желания незаконны, а не потребность счастья незаконна. Какие же желания всегда могут быть удовлетворены, несмотря на внешние условия? Какие? Любовь, самоотвержение!» Он так обрадовался и взволновался, открыв эту, как ему показалось, новую истину, что вскочил и в нетерпении стал искать, для кого бы ему пожертвовать собой, кому бы сделать добро, кого бы любить. «Ведь ничего для себя не нужно, — всё думал он, — отчего же не жить для других?» Он взял ружье и с намерением скорее вернуться домой, чтоб обдумать всё это и найти случай сделать добро, вышел из чащи. Выбравшись на поляну, он оглянулся: солнца уже не было видно, за вершинами деревьев становилось прохладнее, и местность показалась ему совершенно незнакома и непохожа на ту, которая окружала станицу. Всё вдруг переменилось — и погода, и характер леса; небо заволакивало тучами, ветер шумел в вершинах деревьев, кругом виднелись только камыш и перестоялый полуманый лес. Он стал кликать собаку, которая отбежала от него за каким-то зверем, и голос его отозвался ему пустынно. И вдруг ему стало страшно, жутко. Он стал трусить. Пришли в голову абреки, убийства, про которые ему рассказывали, и он ждал: вот-вот выскочит из каждого куста чеченец, и ему



придётся защищать жизнь и умирать или трусить. Он вспомнил и о бóге, и о бóдущей жízни так, как не вспомина́л э́того давно́. А круго́м была́ та же мра́чная, стро́гая, ди́кая приро́да. «И сто́ит ли того́, что́бы жить для себя́,— думал он,— когда́ вот-вот умрёшь, и умрёшь, не сде́лав ниче́го до́брого, и так, что никто́ не узнаёт». Он пошёл по то́му напра́влению, где предпола́гал стани́цу. Об охóте он уже́ не думал, чу́ствовал убийственную уста́лость и о́собо́нно внима́тельно, почти́ с у́жасом, огля́дывал ка́ждый куст и де́рево, ожида́я ежемину́тно расче́та с жízнию. Покружившись дово́льно до́лго, он вы́брался на кана́ву, по кото́рой текла́ песча́ная, холо́дная вода́ из Те́река, и, что́бы бо́льше не плута́ть, реши́лся пойти́ по ней. Он щёл, сам не зная́, куда́ вы́ведет его́ кана́ва. Вдруг сза́ди его́ затрещали́ камыши́. Он вздро́гнул и схватился за ружьё. Ему́ ста́ло сты́дно себя́; зарья́вшая¹ соба́ка, тяжело́ дыша́, бро́силась в холо́дную во́ду кана́вы и ста́ла лакать её.

Он напи́лся вме́сте с не́ю и пошёл по то́му напра́влению, куда́ она́ тяну́ла, полага́я, что она́ вы́ведет его́ в стани́цу. Но, несмотря́ на това́рищество соба́ки, вокру́г ему́ всё каза́лось ещё́ мра́чнее. Лес темне́л, ве́тер сильнее́ и сильнее́ разы́грывался в верши́нах ста́рых поло́манных дере́вьев. Какие-то бо́льшие пти́цы с ви́згом вили́сь о́коло гнезд э́тих дере́вьев. Растите́льность стано́вилась бедне́е, ча́ще попада́лся шушу́кающий ка-

¹ Зарья́вшая; зарья́ть, зарья́лить — задохну́ться, надорва́ться с пере́го́ну.

мыш и голые песчаные полянки, избитые звериными следами. К гулу ветра присоединялся ещё какой-то невеселый, однообразный гул. Вообще на душе становилось пасмурно. Он ощупал сзади фазанов и одного не нашёл. Фазан оторвался и пропал, и только окровавленная шейка и головка торчали за поясом. Ему стало так страшно, как никогда. Он стал молиться богу, и одного только боялся — что умрёт, не сделав ничего доброго, хорошего; а ему так хотелось жить, жить, чтобы совершить подвиг самоотвержения.

XXI

Вдруг как солнце просияло в его душе. Он услышал звуки русского говора, услышал быстрое и равномерное течение Терека, и шага через два перед ним открылась коричневая продвигающаяся поверхность реки, с бурым мокрым песком на берегах и отмелях, дальняя степь, вышка кордона, отделявшаяся над водой, осёдланная лошадь, в тренёге ходившая по тёрнам, и горы. Красное солнце вышло в мгновение из-за тучи и последними лучами весело блеснуло вдоль по реке, по камышам, на вышку и на казаков, собравшихся кучкой, между которыми Лукашка невольно своєю бодрою фигурой обратил внимание Оленина.

Оленин почувствовал себя опять, без всякой видимой причины, совершенно счастливым. Он зашёл в Нижне-Протоцкий пост, на Тереке, против мирного аула на той стороне. Он поздоровался с казаками, но, ещё не найдя предлога сделать кому-либо добро, вошёл в избу. И в избе не представилось случая. Казаки приняли его холодно. Он вошёл в мазанку и закурил папиросу. Казаки мало обратили внимания на Оленина, во-первых, за то, что он курил папироску, во-вторых, оттого, что у них было другое развлечение в этот вечер. Из гор приехали с лазутчиком немирные чеченцы, родные убитого абрека, выкупать тело. Ждали из станицы казачье начальство. Брат убитого, высокий, стройный, с подстриженной и выкрашенной красною бородой, несмотря на то, что был в оборваннейшей черкёске и папáхе, был спокоен и величав,



как царь. Он был очень похож лицом на убитого абрека. Никого он не удостоивал взглядом, ни разу не взглянул на убитого и, сидя в тени на корточках, только сплёвывал, куря трубочку, и изредка издавал несколько повелительных горланых звуков, которыми почтительно внимал его спутник. Видно было, что это джигит, который уже не раз видал русских совсем в других условиях, и что теперь ничто в русских

не только не удивляло, но и не занимало его. Оленин подошёл было к убитому и стал смотреть на него, но брат, спокойно-презрительно взглянув выше бровей на Оленина, отрывисто и сердито сказал что-то. Лазутчик поспешил закрыть черкёской лицо убитого. Оленина поразила величественность и строгость выражения на лице джигита; он заговорил было с ним, спрашивая, из какого он аула, но чеченец чуть глянул на него, презрительно сплюнул и отвернулся. Оленин так удивился тому, что горец не интересовался им, что равнодушные его объяснил себе только глупостью или непониманием языка. Он обратился к его товарищу. Товарищ, лазутчик и переводчик, был такой же оборванный, но чёрный, а не рыжий, вертлявый, с белейшими зубами и сверкающими чёрными глазами. Лазутчик охотно вступил в разговор и попросил папироску.

— Их пять братьев,— рассказывал лазутчик на своём ломаном полурусском языке,— вот уж это третьего брата русские бьют, только два остались; он джигит, очень джигит,— говорил лазутчик, указывая на чеченца.— Когда убили Ахмед-хана (так звали убитого абрека), он на той стороне в камышах сидел; он всё видел: как его в каюк клали и как на берег привезли. Он до ночи сидел; хотел старика застрелить, да другие не пустили.

Лукашка подошёл к разговаривающим и подсёл.

— А из какого аула?— спросил он.

— Вон, в тех горах,— отвечал лазутчик, указывая за Терек, в голубоватое туманное ущелье.— Суюк-су знаешь? Вёрст десять за ним будет.

— В Суюк-су Гирей-хана знаешь? — спросил Лукашка, видимо гордясь этим знакомством.— Кунак мне.

— Сосед мне,— отвечал лазутчик.

— Молодец!— И Лукашка, видимо очень заинтересованный, заговорил по-татарски с переводчиком.

Скоро приехали верхом сотник и станционный со свитою двух казаков. Сотник, из новых казачьих офицеров, поздоровался с казаками; но ему не крикнул никто в ответ, как армейские: «Здравия желаем, ваше благородие», и только кое-кто ответил простым поклоном. Некоторые, и Лукашка

в том числѣ, встали и вѣтянулись. Урядник донёс, что на посту всё обстоит благополучно. Всё это смешно показалось Оленину: точно эти казаки играли в солдат. Но форменность скоро перешла в простые отношения; и сотник, который был такой же ловкий казак, как и другие, стал бойко говорить по-татарски с переводчиком. Написали какую-то бумагу, отдали её лазутчику, у него взяли деньги и приступили к телу.

— Гаврилов Лука который у вас? — проговорил сотник. Лукашка снял шапку и подошёл.

— О тебе я послал рапорт полковому. Что выйдет, не знаю; я написал к кресту, — в урядники рано. Ты грамотен?

— Никак нет.

— А какой молодец из себя! — сказал сотник, продолжая играть в начальника. — Накройся. Он чьих Гавриловых? Широкого, что ль?

— Племянник, — отвечал урядник.

— Знаю, знаю. Ну, берись, подсоби им, — обратился он к казакам.

Лукашкино лицо так и светилось радостью и казалось красивее обыкновенного. Отойдя от урядника и накрывшись, он снова подсел к Оленину.

Когда тело отнесено было в каюк, чеченец-брат подошёл к берегу. Казаки невольно расступились, чтобы дать ему дорогу. Он сильною ногой оттолкнулся от берега и вскочил в лодку. Тут он в первый раз, как Оленин заметил, быстрым взглядом окинул всех казаков и опять что-то отрывисто спросил у товарища. Товарищ ответил что-то и указал на Лукашку. Чеченец взглянул на него и, медленно отвернувшись, стал



смотрѣть на тот бѣрег. Не ненависть, а холодное презрѣние выразилось в этом взглядѣ. Он ещё сказа́л что́-то.

— Что он сказа́л?— спроси́л Олѣнин у вертлявого перево́дчика.

— Твоя́ наша бьёт, наша́ ваша коробчит¹. Всё одна хурда́-мурда́,— сказа́л лазу́тчик, ви́димо обманывая, засмеялся, оскáливая свой бѣлые зу́бы, и вскочи́л в каю́к.

Брат уби́того сидѣл, не шевелясь, и при́стально гляде́л на тот бѣрег. Он так ненави́дел и презира́л, что ему́ да́же любопы́тного ничегó тут не́ было. Лазу́тчик, сто́я на концѣ каю́ка, перенося́ весло́ то на ту, то на друго́ю сто́рону, ловко пра́вил и говори́л без у́молку. На́искось перебива́я течѣние, каю́к станови́лся всё ме́ньше и ме́ньше, голоса́ долетáли чуть слы́шно, и наконецъ, в глаза́х, они́ приста́ли к тому́ бѣрегу, где стоя́ли их ло́шади. Там они́ вы́несли тѣло; несмотря́ на то, что шарáхалась ло́шадь, положи́ли его́ че́рез седло́, сѣли на коней́ и ша́гом поѣхали по доро́ге ми́мо ау́ла, из кото́рого толпа́ наро́да вы́шла смотре́ть на них. Каза́ки же на э́той стороне́ бы́ли чрезвычай́но дово́льны и вѣселы. Со всех сто́рон слы́шались смех и шу́точки. Со́тник с стани́чным пошли́ угости́ться в ма́занку. Лука́шка с вѣсѣлым ли́цом, кото́рому тщѣ́тно старáлся он прида́ть степѣнный вид, сидѣл по́дле Олѣнина, оперши́сь локтя́ми на колѣ́на и строга́я па́лочку.

— Что э́то вы ку́рите?— сказа́л он, как бу́дто с любопы́тством.— Ра́зве хорошо́?

Он, ви́димо, сказа́л э́то то́лько потому́, что замеча́л, что Олѣнину нелóвко и что он одинóк среди́ каза́ков.

— Так, приви́к,— отвеча́л Олѣнин,— а что?

— Гм! Ко́ли бы наш брат кури́ть стал, бедá! Вон ведь недалекó горы-то,— сказа́л Лука́шка, ука́зывая в ущѣ́лье,— а не доѣдешь!.. Как же вы домо́й одни́ пойдѣ́те: темно́? Я вас провожу́, ко́ли хоти́те,— сказа́л Лука́шка,— вы попроси́те у уря́дника.

«Какóй молоде́ц»,— подумáл Олѣнин, глядя́ на весѣлое ли́цо каза́ка. Он вспо́мнил про Марья́нку и про поцелу́й, кото́рый он подслу́шал за воро́тами, и ему́ ста́ло жа́лко Лука́шку,

¹ Коробчи́ть — обманывать.

жалко его необразование. «Что за вздор и путаница?— думал он.— Человек убил другого, и счастлив, доволен, как будто сделал самое прекрасное дело. Неужели ничто не говорит ему, что тут нет причины для большой радости? Что счастье не в том, чтобы убивать, а в том, чтобы жертвовать собой?»

— Ну, не попадайся ему теперь, брат,— сказал один из казаков, провожавших каюк, обращаясь к Лукашке.— Слышал, как про тебя спросил?

Лукашка поднял голову.

— Крестник-то?— сказал Лукашка, разумя под этим словом чеченца.

— Крестник-то не встанет, а рожий братец-то крестовый.

— Пускай бога молит, что сам цел ушёл,— сказал Лукашка, смеясь.

— Чему же ты радуешься?— сказал Оленин Лукашке.— Как бы твоего брата убили, разве бы ты радовался?

Глаза казака смеялись, глядя на Оленина. Он, казалось, понял всё, что тот хотел сказать ему, но стоял выше таких соображений.

— А что ж? И не без того! Разве нашего брата не бьют?

XXII

Сотник с станичным уехали; а Оленин, для того чтобы сделать удовольствие Лукашке и чтобы не идти одному по тёмному лесу, попросил отпустить Лукашку, и урядник отпустил его. Оленин думал, что Лукашке хочется видеть Марьянку, и вообще был рад товариществу такого приятного на вид и разговорчивого казака. Лукашка и Марьянка невольно соединились в его воображении, и он находил удовольствие думать о них. «Он любит Марьяну,— думал себе Оленин,— а я бы мог любить её». И какое-то сильное и новое для него чувство умиления овладевало им, в то время как они шли домой по тёмному лесу. Лукашке тоже было весело на душе. Что-то похожее на любовь чувствовалось между этими двумя столь различными молодыми людьми. Всякий раз, как они взглядывали друг на друга, им хотелось смеяться.

— Тебѣ в какіе ворѳта?— спросил Олѣнин.

— В средніе. Да я вас провожѳ до болѳта. Там уж вы не бойтѳсь ничегѳ.

Олѣнин засмеялся.

— Да разве я боѳсь? Ступай назад, благодарствую. Я оди́н дойдѳ.

— Ничегѳ! А мне что ж дѣлать! Как вам не боятѳсь? И мы боймся,— сказа́л Лукашка, то́же смеясь и успокаивая его самолѳбие.

— Ты ко мне зайдѳ. Поговорим, выпьем, а ѳтром ступай.

— Разве я мѣста не найдѳ, где нѳчку ночевать,— засмеялся Лукашка,— да урядник просил прийти.

— Я вчера слышал, ты пѣсни пел, и ещѳ тебя видел...

— Все люди...— И Лука покачал головой.

— Что, ты женишься — правда?— спросил Олѣнин.

— Матушка женить хѳчет. Да ещѳ и коня нет.

— Ты нестроевоѳ?

— Где ж! То́лько собра́лся. Ещѳ коня нет, а раздобы́ться не́где. Отто́го и не женят.

— А ско́лько конь сто́ит?

— Торговали намѣдни одногѳ за рекоѳ, так шестьдесят монѳтов не берѳт, а конь ного́йский.

— Пойдѳшь ты ко мне в драба́нты? (В походе драба́нт есть не́что вроде вестовѳго, ко́рых давали офицѳрам.) Я тебя выхлопочу и коня тебе подарѳ,— вдруг сказа́л Олѣнин.— Пра́во, у меня́ два, мне не ну́жно.

— Как не ну́жно?— смея́сь сказа́л Лукашка.— Что вам дарить? Мы разживѳмся, бог даст.

— Пра́во! Или не пойдѳшь в драба́нты?— сказа́л Олѣнин; радуясь то́му, что ему́ пришло́ в го́лову подарить коня́ Лукашке. Ему́, одна́ко, отчегѳ-то нелѳвко и со́вестно бы́ло. Он иска́л и не знал, что сказа́ть.

Лукашка пѳрвый прервал молча́ние.

— Что, у вас в Росси́и дом есть свой?— спросил он.

Олѣнин не мог удержаться, что́бы не сказа́ть, что у него́ не то́лько оди́н дом, но и не́сколько до́мов есть.

— Хоро́ший дом? бо́льше на́ших?— доброду́шно спросил Лукашка.

— Много больше, в десять раз, в три яруса,— рассказы-вал Оленин.

— А кони есть такие, как у нас?

— У меня сто голов лошадей, да по триста, по четыреста рублей, только не такие, как ваши. Серебрём триста! Рысис-тые, знаешь... А всё я здешних лучше люблю.

— Что ж вы сюда приехали, волей или неволей?— спросил Лукашка, всё как будто посмеваясь.— Вот вы где заплутались,— прибавил он, указывая на дорожку, мимо которой они проходили,— вам бы надо вправо.

— Так, по своей охоте,— отвечал Оленин,— хотелось по-смотреть ваши места, в походах походить.

— Сходил бы в поход нынче,— сказал Лука.— Ишь ча-калки воят,— прибавил он, прислушиваясь.

— Да что, тебе не страшно, что ты человека убил?— спросил Оленин.

— Чего ж бояться? А сходил бы в поход!— повторил Лу-кашка.— Так мне хочется, так мне хочется...

— Может быть, пойдём вместе. Наша рота пойдёт перед праздником и ваша сотня тоже.

— И охота вам сюда ехать! Дом есть, кони есть и холопы есть. Я бы гулял да гулял. Что, вы чин какой имеете?

— Я юнкер, а теперь представлен.

— Ну, коли не хвастаете, что житьё у вас такое, я из до-ма никуда бы не уехал. Да я и так никуда бы не уехал. Хорошó у нас жить?

— Да. Очень хорошó,— сказал Оленин.

Уж было совсем темно, когда они, разговаривая таким образом, подходили к станице. Ещё их окружал тёмный мрак леса. Ветер высоко гудел в вершинах. Чакалки, казалось, подле них вдруг завывали, хохотали и плакали; а вперёд, в станице, уже слышался женский говор, лай собак, ясно обозначались профили хат, светились огни и тянуло запахом, особенным запахом дыма кизяка. Так и чувствовалось Оленину, особенно в этот вечер, что тут в станице его дом, его семья, всё его счастье и что никогда нигде он не жил и жить не будет так счастливо, как в этой станице. Он так любил всех и особенно Лукашку в этот вечер! Придя домой, Оленин, к

великому удивлению Лукашки, сам вывел из клетки купленную им в Грозной — не ту, на которой он всегда ездил, но другую, недурную, хотя и не молодую — лошадь и отдал ему.

— За что вам меня дарить? — сказал Лукашка. — Я вам еще не услужил ничем.

— Право, мне ничего не стоит, — отвечал Оленин, — возьми, и ты мне подаришь что... Вот и в поход пойдём.

Лукашка смутился.

— Ну, что ж это? Разве конь малого стоит, — говорил он, не глядя на лошадь.

— Возьми же, возьми! Коли ты не возьмёшь, ты меня обидишь. Ванюша, отведи к нему серого.

Лукашка взял за повод.

— Ну, благодарствуй. Вот, недуманно-негаданно...

Оленин был счастлив, как двенадцатилетний мальчик.

— Привяжи её здесь. Она хорошая лошадь, я в Грозной купил, и скачет лихо. Ванюша, дай нам чихирю. Пойдём в хату.

Подали вино. Лукашка сел и взял чапур.

— Бог даст, и я вам отслужу, — сказал он, допивая вино. — Как звать-то тебя?

— Дмитрий Андрееч.

— Ну, Митрий Андрееч, спаси тебя бог. Кунаки будем. Теперь приходи к нам когда. Хотя и не богатые мы люди, а всё кунака угостим. Я и матушке прикажу, коли чего нужно: каймаку или винограду. А коли на кордон придёшь, я тебе слуга, на охоту, за реку ли, куда хочешь. Вот намедни не знал: какого кабана убил! Так по казакам роздал, а то бы тебе принёс.

— Хорошо, благодарствуй! Ты её только не запрягай, а то она не ездил.

— Как коня запрягать! А вот ещё я тебе скажу, — понизив голову, сказал Лукашка, — коли хочешь, мне кунак есть, Гирей-хан; звал на дороге засесть, где из гор ездят, так вместе поедем. Уж я тебя не выдам, твой мюрид * буду.

— Поедем, поедем когда-нибудь.

Лукашка, казалось, совершенно успокоился и понял отношение Оленина к нему. Его спокойствие и простота обращё-

ния удивили Оленина и были даже немного неприятными ему. Он долго беседовали, и уже поздно Лукашка, не пьяный (он никогда не бывал пьян), но много выпивши, пожал Оленину руку, вышел от него.

Оленин выглянул в окно посмотреть, что он будет делать, выйдя от него. Лукашка шёл тихо, опустив голову вниз. Потом, выведя коня за ворота, вдруг встряхнул головой, как кошка вскочил на него, перекинул повод недоуздка и, гикнув, закатился вдоль по улице. Оленин думал, что он пойдёт поделиться своею радостью с Марьянкой; но несмотря на то, что Лука этого не сделал, ему было так хорошо на душе, как никогда в мире. Он как мальчик радовался и не мог удержаться, чтобы не рассказать Ванюше не только то, что он подарил лошадь Лукэ, но и зачем подарил, и всю свою новую теорию счастья. Ванюша не одобрил этой теории и объявил, что *ларжан ильняпа*¹, и потому всё это пустяки.

Лукашка забежал домой, соскочил с коня и отдал его матери, наказав пустить его в казачий табун; сам же он в ту же ночь должен был вернуться на кордон. Немая взялась свести коня и знаками показывала, что она, как увидит человека, который подарил лошадь, так и поклонится ему в ноги. Старуха только покачала головой на рассказ сына и в душе решила, что Лукашка украл лошадь, и потому приказал немой вести коня в табун ещё до света.

Лукашка пошёл один на кордон и всё раздумывал о поступке Оленина. Хотя конь и не хорош был по его мнению, однако стоил по крайней мере сорок *монетов*, и Лукашка был очень рад подарку. Но зачем был сделан этот подарок, этого он не мог понять, и потому не испытывал ни малейшего чувства благодарности. Напротив, в голове его бродили неясные подозрения в дурных умыслах юнкера. В чём состояли эти умыслы, он не мог дать себе отчёта, но и допустить мысль, что так, ни за что, по добротё незнакомый человек подарил ему лошадь в сорок *монетов*, ему казалось невозможно. Если бы пьяный был, тогда бы ещё понятно было: хотел покуражиться. Но юнкер был трезв, а потому, верно, хотел подкупить его на какое-нибудь дурное дело. «Ну да врешь! —

¹ Дёнег нет (франц.).

думал Лукашка.— Конь-то у меня, а там видно будет. Я сам малый не промах. Ещё кто кого проведёт! Посмотрим!» — думал он, испытывая потребность быть настороже против Оленина и потому возбуждая в себе к нему недоброжелательное чувство. Он никому не рассказывал, как ему достался конь. Одним говорил, что купил; от других отделивался уклончивым ответом. Однако в станице скоро узнали правду. Мать Лукашки, Марьяна, Илья Васильевич и другие казаки, узнавшие о беспричинном подарке Оленина, пришли в недоумение и стали опасаться юнкера. Несмотря на такие опасения, поступок этот возбудил в них большое уважение к простоте и богатству Оленина.

— Слышь, Лукашке коня в пятьдесят монетов бросил юнкирь-то, что у Ильи Васильича стоит,— говорил один.— Богач!

— Слышал,— отвечал другой глубокомысленно.— Должно, услужил ему. Поглядим, поглядим, что из него будет. Эко Урвану счастье.

— Экой народ продувной из юнкирей, беда! — говорил третий,— как раз подожжёт или что.

XXIII

Жизнь Оленина шла однообразно, ровно. С начальством и товарищами он имел мало дела. Положение богатого юнкера на Кавказе особенно выгодно в этом отношении. На работы и на учение его не посылали. За экспедицию он был представлен в офицеры, а до того времени оставляли его в покое. Офицеры считали его аристократом и потому держали себя в отношении к нему с достоинством. Картёжная игра и офицерские кутежи с песенниками, которые он испытал в отряде, казались ему непривлекательными, и он с своей стороны тоже удалялся офицерского общества и офицерской жизни в станице. Офицерская жизнь в станицах давно уже имеет свой определённый склад. Как каждый юнкер или офицер в крепости регулярно пьёт портер, играет в шtos, толкует о наградах за экспедиции, так в станице регулярно пьёт с хозяева-

ми чихирь, угощает девок закусками и мёдом, волочится за казачками, в которых влюбляется; иногда и женится. Оленин жил всегда своеобразно и имел бессознательное отвращение к битым дорожкам. И здесь также не пошёл он по избитой колеё жизни кавказского офицера.

Самó собой сделалось, что он просыпáлся вместе с светом. Напившись чаю и полюбóвавшись с своего крылечка на горы, на утро и на Марьянку, он надевал обóрванный зипун из волóвьеи шкúры, размóченную óбувь, назывáемую поршнями, подпоясывал кинжál, брал ружьё, мешóчек, с закуской и табакóм, звал за собóй собаку и отправлялся часу в шестóm утра в лес за станицу. Часу в седьмóm вéчера он возвращáлся устáлым, голóдным, с пятью-шестью фазáнами за поясом, иногда с зvéрем, с нетрóнутым мешóчком, в котóром лежáли закуска и папирóсы. Ежели бы мысли в головé лежáли так же, как папирóсы в мешкé, то мóжно бýло бы видеть, что за все эти четырнадцать часóв ни однá мысль не пошевелилась в нём. Он приходил домóй морáльно свежий, сильный и совершенно счастливыи. Он не мог бы сказáть, о чём он думал всё это вре́мя. Не то мысли, не то воспомина́ния, не то мечты бродили в его головé,— бродили отрывки всего этого. Опóмнится, спросит: о чём он думает? И застаёт себя или казакóм, рабóтающим в садах с казачкою женою, или абрèком в горах, или кабанóm, убегáющим от себя же самогó. И всё прислушивается, вглядывается и ждёт фазáна, кабанá или оленя.

Вéчером уж непременно сидит у него дядя Ерóшка. Ванюша приносит осьмуху чихиря, и они тихо бесéдуют, напивáются и óба довольные расхóдятся спать. Назáвтра опя́ть охóта, опя́ть здорова́я устáлость, опя́ть за бесéдой так же напивáются и опя́ть счастливы. Иногда, в прázдник или в день óтдыха, он цéлый день провóдит дóма. Тогда глáвным заня́тием была Марьянка, за ка́ждым движéнием котóрой, сам того не замечáя, он жáдно следил из своих óкон или с своего крыльцá. Он смотрéл на Марьянку и любил её (как ему казáлось) так же, как любил красоту гор и нéба, и не думал входить ни в какие отношéния к ней. Ему казáлось, что ме́жду им и ёю не мóжет существова́ть ни тех отношéний, котó-

рые возможны между ёю и казаком Лукашкой, ни ещё менее тех, которые возможны между богатым офицером и казачкой-дѣвкой. Ему казалось, что ежели бы он попытался сделать то, что делали его товарищи, то он бы променял своё полное наслаждёнй созерцанйе на бѣзду мучений, разочарований и раскаяний. Притом же, в отношенйи к этой жѣнщине, он уже сделал подвиг самоотверженйя, доставившй ему столько наслажденья; а главное, почему-то он боялся Марьянки и ни за что бы не решился сказать ей слово шуточной любви.

Однажды летом Олѣнин не пошел на охоту и сидел дома. Совершенно неожиданно вошел к нему его московскй знакомый, очень молодой человек, которого он встречал в свете.

— Ах, топ срег, мой дорогой, как я обрадовался, узнав, что вы здесь! — начал он на московском французском языке и так продолжал, пересыпая свою речь французскими словами. — Мне говорят: «Олѣнин». Какой Олѣнин? Я так обрадовался... Вот привелá судьба свидеться. Ну, как вы? что? зачѣм?

И князь Белѣцкй рассказал всю свою исторйю: как он поступал на время в этот полк, как главнокомандующий звал его в адъютанты и как он после похода поступит к нему, несмотря на то, что вообще этим не интересуется.

— Служá здесь, в этой трущобе, надо по крайней мере сделать карьеру... крест... чин... в гвардйю переведут. Все это необходимо, хоть не для меня, но для родных, для знакомых. Князь меня принял очень хорошо; он очень порядочный человек, — говорил Белѣцкй, не умолкая. — За экспедицию представлен к Анне*. А теперь проживу здесь до похода. Здесь отлично. Какйе жѣнщины! Ну, а как вы живѣте? Мне говорил наш капитан — знаете, Стáрцев: доброе, глупое существо... он говорил, что вы ужасным дикарем живѣте, ни с кем не видите. Я понимаю, что вам не хочется сблизаться с здѣшними офицерами. Я рад, теперь мы с вами будем видѣться. Я тут остановился у урядника. Какáя там дѣвочка, Устенка! Я вам скажу — прѣлесть!

И ещё и ещё сыпались французскйе и русскйе слова из того мира, который, как думал Олѣнин, был покинут им навсегда. Общее мнѣние о Белѣцком было то, что он милый и

добродушный малый. Может быть, он и действительно был такой; но Оленину он показался, несмотря на его добродушное, хорошенькое лицо, чрезвычайно неприятен. Так и пахло от него всёю той гадостью, от которой он отрёкся. Досаднее же всего ему было то, что он не мог, решительно не был в силах резко оттолкнуть от себя этого человека из того мира, как будто этот старый, бывший его мир имел на него неотразимые права. Он злился на Белёцкого и на себя и против своей воли вставлял французские фразы в свой разговор, интересовался главнокомандующим и московскими знаковыми и на основании того, что они оба в казачьей станице говорили на французском диалекте, с презрением относился о товарищах-офицерах, о казаках и дружески обошёлся с Белёцким, обещаясь бывать у него и приглашая заходить к нему. Сам Оленин, однако, не ходил к Белёцкому. Ванюша одобрил Белёцкого, сказав, что это настоящий барин.

Белёцкий сразу вошёл в обычную жизнь богатого кавказского офицера в станице. На глазах Оленина он в один месяц стал как бы старожилом станицы: он подпивал стариков, делал вечеринки и сам ходил на вечеринки к девушкам, хвастался победами и даже дошёл до того, что девушки и бабы прозвали его почему-то дедушкой, а казаки, ясно определившие себе этого человека, любившего вино и женщин, привыкли к нему и даже полюбили его больше, чем Оленина, который был для них загадкой.

XXIV

Было пять часов утра. Ванюша раздувал голенищем самовар на крыльце хаты. Оленин уже уехал верхом купаться на Тёрек. (Он недавно выдумал себе новое удовольствие — купать в Тёреке лошадь.) Хозяйка была в своей *избушке*, из трубы которой поднимался чёрный густой дым растапливавшейся печи; девушка в клетке доила буйволицу. «Не постоит, проклятая!» — слышался оттуда её нетерпеливый голос и вслед за тем раздавался равномерный звук доения. На улице, около дома слышался бойкий шаг лошади, и Оленин *охлетью* на красивом, невысохшем глянцевето-мокром, тёмно-

сѣром конѣ подъѣхал к воротам. Красивая голова Марьяны, повязанная одним красным платком (называемым сорочкой), высунулась из клѣти и снова скрылась. На Олѣнине была красная канáусовая рубáха, бѣлая черкѣска, стянутая ремнѣм с кинжалом, и высокая шапка. Он нѣсколько изысканно сидѣл на мѣкрой спинѣ лошади, и, придѣрживая ружьѣ за спиной, нагнулся, чтоб отворить ворота. Волоса его еще были мѣкры, лицо сияло молодостью и здоровьем. Он думал, что он хорош, ловок и похож на джигита; но это было несправедливо. На взгляд всякого опытного кавказца он все-таки был солдат. Замѣтив высунувшуюся голову дѣвки, он особенно бойко пригнулся, откинул плетень ворот и, поддерживав повѣдья, взмахнув плетью, въѣхал на двор. «Готов чай, Ванюша?» — крикнул он весело, не глядя на дверь клѣти; он с удовольствіем чувствовал, как, поджимая зад, попрашивая повѣдья и содрогаясь каждым мускулом, красивый конь, готовый со всех ног перескочить через забор, отбивал шаг по засохшей глине двора. «*Ce pre!*»¹ — отвечал Ванюша. Олѣнину казалось, что красивая голова Марьяны все еще сморит из клѣти, но он не оглянулся на нее. Соскочив с лошади, Олѣнин зацепил ружьем за крылечко, сдѣлал неловкое движеніе и испуганно оглянулся на клеть, в которой никого не было видно и слышались те же равномерные звуки добенья.

Войдя в хату, он через нѣсколько времени вышел оттуда на крылечко и с книгой и трубкой, за стаканом чаю, усѣлся в сторонѣ, не облитой еще косыми лучами утра. Он никуда не собирался до обѣда в этот день и намеревался писать давно откладывавшіеся письма; но почему-то жалко было ему оставить свое местечко на крыльце и, как в тюрьму, не хотѣлось вернуться в хату. Хозяйка вытопила печь, дѣвка угнала скотину и, вернувшись, стала собирать и лепить кизяки по забору. Олѣнин читал, но ничего не понимал из того, что было написано в раскрытой перед ним книгѣ. Он беспрестанно отрывал от нее глаза и смотрѣл на двигающуюся перед ним сильную молодую женщину. Заходила ли эта женщина в сырую утреннюю тень, падавшую от дома, выходила ли она на средину двора, освещенного радостным молодым

¹ Готово! (франц.)

свѣтом, и вся стройная фигура её в яркой одежде блистала на солнце и клала чёрную тень,— он одинаково боялся потерять хоть одно из её движений. Его радовало видеть, как свободно и грациозно сгибался её стан, как розовая рубашка, составлявшая всю её одежду, драпировалась на груди и вдоль стройных ног; как выпрямлялся её стан и под её стянutoю рубашкой твёрдо обозначались черты дышащей груди; как узкая ступня, обутая в красные старые черевички, не переменная формы, становилась на землю; как сильные руки, с зашученными рукавами, напрягая мускулы, будто сердито бросали лопатой, и как глубокие чёрные глаза взглядывали иногда на него. Хотя и хмурились тонкие брови, но в глазах выражалось удовольствие и чувство своей красоты.

— Что, Оленин, уж вы давно встали? — сказал Белёцкий, в кавказском офицерском сюртуке входя на двор и обращаясь к Оленину.

— А, Белёцкий! — отозвался Оленин, протягивая руку. — Как вы так рано?

— Что делать! Выгнали. У меня нынче бал. Марьяна, ты ведь придёшь к Устенке? — обратился он к девочке.

Оленин удивился, как мог Белёцкий так просто обращаться к этой женщине. Но Марьяна, как будто не слышав, нагнула голову и, перекинув на плечо лопату, своею бойкою мужскою походкой пошла к избушке.

— Стыдится, нянюка, стыдится, — проговорил ей вслед Белёцкий, — вас стыдится, — и, весело улыбаясь, взбежал на крыльцо.

— Как, бал у вас? Кто вас выгнал?

— У Устенки, у моей хозяйки, бал, и вы приглашены. Бал, то есть пирог и собрание девок.

— Да что ж мы-то будем делать?

Белёцкий хитро улыбнулся и, подмигнув, показал головой на *избушку*, в которой скрылась Марьяна.

Оленин пожал плечами и покраснел.

— Ей-богу, вы странный человек! — сказал он.

— Ну, рассказывайте!

Оленин нахмурился. Белёцкий заметил это и искательно улыбнулся.

— Да как же, помилуйте,— сказал он,— живёте в одном доме... и такая славная девушка, отличная девочка, совершенная красавица...

— Удивительная красавица! Я не видывал таких женщин,— сказал Оленин.

— Ну, так что же? — совершенно ничего не понимая, спросил Белёцкий.

— Оно, может быть, странно,— отвечал Оленин,— но чего мне не говорить того, что есть? С тех пор как я живу здесь, для меня как будто не существует женщин. И так хорошо, право! Ну, да и что может быть общего между нами и этими женщинами? Ерощка — другое дело; с ним у нас общая страсть — охота.

— Ну, вот! Что общего? А что общего между мной и Амалией Ивановной? То же самое. Скажете, что грязненьки они, ну это другое дело. *A la guette, comme á la guette!*¹

— Да я Амалий Ивановн не знал и никогда не умёл с ними обращаться,— отвечал Оленин.— Но тех нельзя уважать, а этих я уважаю.

— Ну и уважайте! Кто ж вам мешает?

Оленин не отвечал. Ему, видимо, хотелось договорить то, что он начал. Оно было ему слишком к сердцу.

— Я знаю, что я составляю исключение. (Он, видимо, был смущён.) Но жизнь моя устроилась так, что я не вижу не только никакой потребности изменять свои правила, но я бы не мог жить здесь, не говорю уже жить так счастливо, как живу, ежели бы я жил по-вашему. И потом, я совсем другого ищю, другое вижу в них, чем вы.

Белёцкий недоверчиво поднял брови.

— Всё-таки приходите ко мне вечерком, и Марьяна будет, я вас познакомлю. Приходите, пожалуйста! Ну, скучно будет, вы уйдёте. Придёте?

— Я бы пришёл; но, по правде вам скажу, я боюсь серьёзно увлечься.

— О, о, о! — закричал Белёцкий.— Приходите только, я вас успокою. Придёте? Честное слово?

¹ На войнэ — как на войнэ! (франц.)

— Я бы пришёл, но, право, я не понимаю, что мы будем делать, какую роль мы будем играть.

— Пожалуйста, я вас прошу. Придёте?

— Да, придё, может быть,— сказал Оленин.

— Помылите, прелестные женщины, как нигде, и жить монахом! Что за охота? Из чего портить себе жизнь и не пользоваться тем, что есть? Слышали вы, наша рота в Воздвиженскую пойдёт?

— Едва ли. Мне говорили, что восьмая рота пойдёт,— сказал Оленин.

— Нет, я получил письмо от адъютанта. Он пишет, что князь будет сам в походе. Я рад, мы с ним увидимся. Уж мне начинает надоедать здесь.

— Говорят, что в набег скоро.

— Не слыхал; а слыхал, что Криновичину за набег-то Анна вышла. Он ждал поручика,— сказал Белёцкий, смеясь.— Вот попался-то. Он в штаб поехал...

Стало смеркаться, и Оленин начал думать о вечеринке. Приглашение мучило его. Ему хотелось идти, но странно, дико и немного страшно было подумать о том, что там будет. Он знал, что ни казаков, ни старух, никого, кроме девок, не должно быть там. Что такое будет? Как вести себя? Что говорить? Что они будут говорить? Какие отношения между ними и этими дикими казачьими девками? Белёцкий рассказывал про такие странные, цинические и вместе строгие отношения... Ему странно было думать, что он будет там в одной хате с Марьяной и, может быть, ему придётся говорить с ней. Ему это казалось невозможным, когда он вспоминал её величавую осанку. Белёцкий же рассказывал, что всё это так просто. «Неужели Белёцкий и с Марьяной будет так же обращаться? Это интересно,— думал он.— Нет, лучше не ходить. Всё это гадко, пошло, а главное — ни к чему». Но опять его мучил вопрос: как это всё будет? И его как будто связывало данное слово. Он пошёл, не решившись ни на что, но дошёл до Белёцкого и вошёл к нему.

Хата, в которой жил Белёцкий, была такая же, как и хата Оленина. Она стояла на столбах, в два аршина от земли, и состояла из двух комнат. В первой, в которую вошёл Оле-

нин по крутой лѣсенке, лежали пуховикѣ, ковры, одеяла, подушки на казачий манер, красиво и изящно прибранные друг к другу у одной лицевой стѣны. Тут же, на боковых стѣнах, висѣли мѣдные тазы и оружіе; под лавкой лежали арбузы и тыквы. Во второй комнатѣ была большая печь, стол, лавки и старовѣрческіе иконы. Здесь помещался Белѣцкій с своею складною кроватью, выючными чемоданами, с ковриком, на котором висѣло оружіе, и с расставленными на столѣ туалетными вещами и портретами. Шёлковый халат был брошен на лавкѣ. Сам Белѣцкій, хорошенькій, чистенькій, лежал в одном бельѣ на кровати и читал «Les trois mousquetaires»¹.

Белѣцкій вскочил.

— Вот видите, как я устроился. Славно? Ну, хорошо, что пришлі. Уж у них идёт работа страшная. Вы знаете, из чего дѣлается пирог? Из тѣста с свиной и виноградом. Да не в том сила. Посмотрите-ка, что там кипит!

Действительно, выглянув в окно, они увидели необыкновенную суетню в хозяйской хатѣ. Дѣвки то с тем, то с другим выбегали из сеней и вбегали обратно.

— Скоро ли? — крикнул Белѣцкій.

— Сейчас! Аль проголодался, дѣдушка? — И из хаты послышался звонкій хохот.

Устенка, пухленькая, румянькая, хорошенькая, с засученными рукавами вбежала в хату Белѣцкого за тарелками.

— Ну, ты! Вот тарелки разобью,— завизжала она на Белѣцкого.— Ты бы шёл пособлять,— прокричала она, смеясь, на Оленина.— Да *закусок-то*² дѣвкам припаси.

— А Марьянка пришлѣ? — спросил Белѣцкій.

— А то как же! Она тѣсто принесла.

— Вы знаете ли,— сказал Белѣцкій,— что ежели бы одѣть эту Устенку да подчистить, похолить немножко, она была бы лучше всех наших красавиц. Видели вы казачку Борщеву? Она вышла замуж за полковника. Прелесть какая *dignité!*³ Откуда что взялось...

¹ «Три мушкетера» (франц.).

² Закусками называются пряники и конфеты. (Прим. Л. Н. Толстого.)

³ Осанка! (франц.)

— Я не видал Борщёвой, а по мне — лучше этого народа ничего быть не может.

— Ах, я так умею примириться со всякою жизнью! — сказал Белёцкий, весело вздыхая. — Пойду посмотрю, что у них. Он накиннул халат и побежал.

— А вы озаботьтесь закусками! — крикнул он.

Оленин послал денщика за пряниками и мёдом; и так ему вдруг гадко показалось давать деньги, будто он подкупал кого-то, что он ничего определённого не ответил на вопрос денщика: «Сколько купить мятных, сколько медовых?»

— Как знаешь.

— На все-с? — значительно спросил старый солдат. — Мятные дороже. По шестнадцати продавали.

— На все, на все, — сказал Оленин и сел к окну, сам удивляясь, почему у него сердце стучало так, как будто он на что-то важное и нехорошее готовился.

Он слышал, как в девичьей хате поднялся крик и визг, когда вошёл туда Белёцкий, и через несколько минут увидел, как с визгом, вознёй и смехом он выскочил оттуда и сбежал с лестки.

— Выгнали, — сказал он.

Через несколько минут Устенька вошла в хату и торжественно пригласила гостей, объявив, что всё готово.

Когда они вошли в хату, всё действительно было готово, и Устенька управляла пуховики в стене. На столе, накрытом несоразмерно малою салфеткой, стоял графин с чихирём и сушёная рыба. В хате пахло тестом и виноградом. Человек шесть девок, в нарядных бешметах и необвязанные платками, как обыкновенно, жались в углу за печкою, шептались, смеялись и фыркали.

— Простим покорно моего ангела помолить, — сказала Устенька, приглашая гостей к столу.

Оленин в толпе девок, которые все без исключения были красивы, рассмотрел Марьянку, и ему больно и досадно стало, что он сходится с нею в таких пошлых и неловких условиях. Он чувствовал себя глупым и неловким и решил сделать то же, что делал Белёцкий. Белёцкий несколько торжественно, но самоуверенно и развязно подошёл к столу, выпил

стакан вина за здоровье Устенки и пригласил других сделать то же. Устенка объявила, что девочки не пьют.

— С мёдом бы можно,— сказал ей чей-то голос из толпы девочек.

Кликнули денщика, только что вернувшегося из лавочки с мёдом и закусками. Денщик исподлбья, не то с завистью, не то с презрением, оглядев гулявших, по его мнению, господ, старательно и добросовестно передал завернутые в серую бумагу кусок мёда и пряники и стал было распространяться о цене и сдаче, но Белёцкий прогнал его.

Размешав мёд в налитых стаканах чихиря и роскошно раскинув три фунта пряников по столу, Белёцкий вытащил девочкой силой из их угла, усадил за стол и принялся оделять их пряниками. Оленин невольно заметил, что загорелая, но небольшая рука Марьянки захватила два круглые мятные и один коричневый пряник, не зная, что с ними делать. Беседа шла неловкая и неприятная, несмотря на развязность Устенки и Белёцкого и желание их развеселить компанию. Оленин мялся, придумывал, что бы сказать, чувствовал, что внушает любопытство, может быть вызывает насмешку и сообщает другим свою застенчивость. Он краснел, и ему казалось, что в особенности Марьяне было неловко. «Верно, они ждут, что мы дадим им денег,— думал он.— Как это мы будем давать? И как бы поскорее дать и уйти!»

XXV

— Как же ты своего постояльца не знаешь! — сказал Белёцкий, обращаясь к Марьянке.

— Как же его знать, когда к нам никогда не ходит? — сказала Марьяна, взглянув на Оленина.

Оленин испугался чего-то, вспыхнул и, сам не зная, что говорит, сказал:

— Я твоёй матери боюсь. Она меня так разбранила в первый раз, как я зашёл к вам.

Марьянка захохотала.

— А ты и испугался? — сказала она, взглянула на него и отвернулась.

Тут в первый раз Оленин увидал всё лицо красавицы, а прежде он видел её обвязанною до глаз платком. Недаром она считалась первою красавицей в станице. Устенка была хорошенькая девочка, маленькая, полненькая, румяная, с веселыми карими глазами, с вечною улыбкой на красных губах, вечно смеющаяся и болтающая. Марьяна, напротив, была отнюдь не *хорошенькая*, но *красавица*. Черты её лица могли показаться слишком мужественными и почти грубыми, ежели бы не этот большой стройный рост и могучая грудь и плечи и, главное — ежели бы не это строгое и вместе нежное выражение длинных чёрных глаз, окружённых тёмною тенью под чёрными бровями, и ласковое выражение рта и улыбки. Она улыбалась редко, но зато её улыбка всегда поражала. От неё веяло девственною силой и здоровьем. Все девочки были красивы, но и сами они, и Белёцкий, и денщик, вошедший с пряниками, — все невольно смотрели на Марьяну и, обращаясь к девочкам, обращались к ней. Она гордою и веселою царицей казалась между другими.

Белёцкий, стараясь поддерживать приличие вечеринки, не переставая болтал, заставляя девок подносить чихирь, возился с ними и беспрестанно делал Оленину неприличные замечания по-французски о красоте Марьянки, называя её «*ваша*», *la vôtre*, и приглашая его делать то же, что он сам. Оленину становилось тяжеле и тяжеле. Он придумал предлог, чтобы выйти и убежать, когда Белёцкий провозгласил, что именница Устенка должна подносить чихирь с поцелуями. Она согласилась, но с тем уговором, чтобы ей на тарелку клали деньги, как это делается на свадьбах. «И чёрт меня занёс на эту отвратительную пирушку!» — сказал про себя Оленин и, встав, хотел уйти.

— Куда вы?

— Я пойду табак принесу, — сказал он, намереваясь бежать, но Белёцкий схватил его за руку.

— У меня есть деньги, — сказал он ему по-французски.

«Нельзя уйти, тут надо платить, — подумал Оленин, и ему стало так досадно на свою неловкость. — Неужели я не могу то же делать, что и Белёцкий? Не надо было идти, но раз пришёл, не надо портить их удовольствия. Надо пить по-ка-



зацки»,— и, взяв чапуру (деревянную чашку, вмещающую в себе стаканов восемь), налил вина и выпил почти всю. Девки с недоумением и почти с испугом смотрели на него, когда он пил. Это им казалось странно и неприлично. Устенка поднесла им ещё по стакану и поцеловалась с обими.

— Вот, девки, загуляем,— сказала она, встряхивая на тарелке четыре монета, которые положили они.

Оленину уже не было неловко. Он разговорился.

— Ну, теперь ты, Марьяна, поднеси с поцелуем,— сказал Белецкий, схватывая её за руку.

— Да я тебя так поцелую! — сказала она, шутя замаясь на него.

— Дедушку и без денег поцеловать можно,— подхватила другая девка.

— Вот умница! — сказал Белецкий и поцеловал отбивавшуюся девку.— Нет, ты поднеси,— настаивал Белецкий, обращаясь к Марьяне.— Постояльцу поднеси.

И, взяв её за руку, он подвёл её к лавке и посадил рядом с Олениным.

— Какová красавица! — сказал он, поворачивая её голову в профиль.

Марьяна не отбивалась, а, гордо улыбаясь, повелá на Оленина своими длинными глазами.

— Красáвица дéвка,— повторил Белéцкий.

«Каковá я красáвица!» — повторил, казалось, взгляд Марьяны. Оленин, не отдавая себе отчёта в том, что он делал, обнял Марьяну и хотёл поцеловать её. Она вдруг вырвалась, столкнула с ног Белéцкого и крышку со столá и отскочила к печи. Начался крик, хóхот. Белéцкий шептал что-то дéвкам, и вдруг все они выбежали из избы в сени и заперли дверь.

— За что же ты Белéцкого поцеловáла, а меня не хочешь? — спросил Оленин.

— А так, не хочу, и всё,— отвечала она, вздёргивая нижнею губой и бровью.— Он дедушка,— прибáвила она, улыбаясь. Она подошла к двери и стала стучать в неё.— Что заперлись, чёрти?

— Что ж, пускай они там, а мы здесь,— сказал Оленин, приближаясь к ней.

Она нахмурилась и строго отвелá его от себя рукой. И вновь так величественно хорошá показáлась она Оленину, что он опóмнился и ему стыдно стало за то, что он делает. Он подошёл к двери и стал дёргать её.

— Белéцкий, отойдите! Что за глúпые шúтки?

Марьяна опять засмеялась своим светлым, счастливым смéхом.

— Ай бойшься меня? — сказала она.

— Да ведь ты такáя же сердитáя, как мать.

— А ты бы бóльше с Ерóшкой сидёл, так тебя дéвки за это и любить бы стали.— И она улыбалась, глядя прямо и близко в его глаза.

Он не знал, что говорить.

— А ёсли б я к вам ходил?..— сказал он нечаянно.

— Другóе бы было,— проговорила она, встряхнув головой.

В это время Белéцкий, толкнув, отворил дверь, и Марьяна отскочила на Оленина, так что бедрóм удáрилась о его нóгу.

«Всё пустяки, что я прёжде думал: и любовь, и самоотвержение, и Лукашка. Одно есть счастье: кто сáстлив, тот

и прав», — мелькнуло в головѣ Олѣнина, и с неожиданною для себя силой он схватил и поцеловал красавицу Марьянку в висок и щѣку. Марьянка не рассердилась, а только громко захотала и вѣбежала к другим дѣвкам.

Вечеринка тем и кончилась. Старуха, Устенкина мать, вернувшись с работы, разругала и разогнала всех дѣвок.

XXVI

«Да, — думал Олѣнин, возвращаясь домой, — стоило бы мне немного дать себѣ поводья, я бы мог безумно влюбиться в эту казачку». Он лег спать с этими мыслями, но думал, что все это пройдет, и он вернется к старой жизни.

Но старая жизнь не вернулась. Отношения его к Марьянке стали другие. Стѣна, разделявшая их прежде, была разрушена. Олѣнин уже здоровался с нею каждый раз, как встречался.

Хозяин, приехав получить деньги за квартиру и узнав о богатстве и щедрости Олѣнина, пригласил его к себѣ. Старуха ласково принимала его, и со дня вечеринки Олѣнин часто по вечерам заходил к хозяевам и сживал у них до ночи. Он, казалось, по-старому продолжал жить в станице, но в душѣ у него все перевернулось. День проводил он в лесу, а часом в восемь, как смеркалось, заходил к хозяевам, один или с дядей Ерощкой. Хозяева уж так привыкли к нему, что удивлялись, когда его не было. Платил он за вино хорошо, и человек был смиренный. Ванюша приносил ему чай; он садился в угол к печи; старуха, не стесняясь, делала свое дело, и они беседовали за чаем и за чихирем о казачьих делах, о сосѣдях, о Россіи; про которую Олѣнин рассказывал, а они спрашивали. Иногда он брал книгу и читал про себя. Марьяна, как дикая коза, поджав ноги, сидела на печѣ или в темном углу. Она не принимала участія в разговорѣ, но Олѣнин видел ее глаза, лицо, слышал ее движѣния, пощелкиванье семечек и чувствовал, что она слушает всем существом своим, когда он говорил, и чувствовал ее присутствіе, когда он молча читал. Иногда ему казалось, что ее глаза устремлены на

негѣ, и, встречаясь с их блѣском, он невольно замолкал и смотрѣл на неѣ. Тогда она сейчас же пряталась, а он, притворяясь, что очень занят разговором с старухой, прислушивался к еѣ дыханію, ко всем еѣ движеніям и снова дожидался еѣ взгляда. При других она была большею частью весела и ласкова с ним, а наединѣ дика и груба. Иногда он приходил к ним, когда Марьяна ещё, не возвращалась с улицы: вдруг слышатся еѣ сильные шагѣ, и мелькнѣт в отворенной двери еѣ голубая ситцевая рубаха. Выйдет она на середину хаты, увидит его,— и глаза еѣ чуть замѣтно ласково улыбнутся, и ему станет весело и страшно.

Он ничего не искал, не желал от неѣ, а с каждым днѣм еѣ присутствие становилось для негѣ всё болѣе и болѣе необходимостью.

Олѣнин так вжился в станичную жизнь, что прошѣдшее показало ему чѣм-то совершенно чуждым, а будущее, особенно вне того міра, в котором он жил, вовсе не занимало его. Получая письма из дома, от родных и приятелей, он оскорблялся тем, что о нем, видимо, сокрушались, как о погибшем человеке, тогда как он в своей станице считал погибшими всех тех, кто не вел такую жизнь, как он. Он был убежден, что никогда не будет раскаиваться в том, что оторвался от прежней жизни, и так уединенно и своеобразно устроился в своей станице. В походах, в крепостях ему было хорошо; но только здесь, только из-под крылышка дяди Ерѣшки, из своего лѣса, из своей хаты на краю станицы и в особенности при воспоминаніи о Марьянке и Лукашке ему ясно казалась вся та ложь, в которой он жил прежде и которая ужѣ и там возмущала его, а теперь стала ему невыразимо гадка и смешна. Он с каждым днѣм чувствовал себя здесь болѣе и болѣе свободным и болѣе человеком. Совсем иначе, чем он воображал, представился ему Кавказ. Он не нашѣл здесь ничего похожего на все свои мечты и на все слышанные и читанные им описанія Кавказа. «Никаких здесь нет бѣрок, стремнин, Амалат-бѣков, герѣев и злодѣев,— думал он,— люди живут, как живѣт природа: умирают, рѣдятся, совокупляются, опять рѣдятся, дерутся, пьют, едят, радуются и опять умирают, и никаких условій, исключая тех неизменных,

которыя положила природа солнцу, траве, зверю, дереву. Других законов у них нет...» И оттого люди эти в сравнении с ним самим казались ему прекрасны, сильные, свободны, и, глядя на них, ему становилось стыдно и грустно за себя. Часто ему серьёзно приходила мысль бросить всё, приписаться в казаки, купить избу, скотину, жениться на казачке,— только не на Марьяне, которую он уступал Лукашке,— и жить с дядей Ерощкой, ходить с ним на охоту и рыбную ловлю, и с казаками в походы. «Что ж я не делаю этого? Чего ж я жду?» — спрашивал он себя. И он подбивал себя, он стыдил себя: «Или я боюсь сделать то, что сам нахожу разумным и справедливым? Разве желание быть простым казаком, жить близко к природе, никому не делать вреда, а ещё делать добро людям, разве мечтать об этом глупее, чем мечтать о том, о чём я мечтал прежде,— быть, например, министром, быть полковым командиром?» Но какой-то голос говорил ему, чтоб он подождал и не решался. Его удерживало смутное сознание, что он не может жить вполне жизнью Ерощки и Лукашки, потому что у него есть другое счастье,— его удерживала мысль о том, что счастье состоит в самоотвержении. Поступок его с Лукашкой не переставал радовать его. Он постоянно искал случая жертвовать собой для других, но случаи эти не представлялись. Иногда он забывал этот вновь открытый им рецепт счастья и считал себя способным слиться с жизнью дяди Ерощки; но потом вдруг опоминался и тотчас же хватался за мысль сознательного самоотвержения и на основании её спокойно и гордо смотрел на всех людей и на чужое счастье.

XXVII

Лукашка, перед уборкой винограда, верхом заехал к Оленину. Он ещё более смотрел молодцом, чем обыкновенно.

— Ну, что же ты, женишься? — спросил Оленин, весело встречая его.

Лукашка не отвечал прямо.

— Вот коня́ ва́шего променя́л за реко́й! Уж и конь! Кабар-
ди́нский лов-тавро́¹. Я охотник.

Они́ осмотри́ли но́вого коня́, проджигитова́ли по́ двору́. Конь действительно́ был необыкновенно́ хоро́ш: гнедо́й, ши-
ро́кий и дли́нный ме́рин с глянцеви́тою ше́рстью, пуши́стым
хвостом и не́жною, то́нкою, поро́дистою гри́вою и хо́лкой. Он
был сыт так, что на спине́ его́ *то́лько спать ложи́сь*, как вы-
разился Лука́шка. Копы́ты, глаз, оскáл,— всё э́то бы́ло изящ-
но и ре́зко выра́жено, как бывáет то́лько у лошаде́й са́мой
чи́стой кро́ви. Олени́н не мог не любовáться конём. Он ещё
не встреча́л на Кавка́зе тако́го красáвца.

— А ездá-то! — говори́л Лука́шка, трепля́ его́ по шее́.—
Проезд ка́кой! А у́мный! Так и бе́гает за хозяи́ном.

— Много́ ли при́дачи дал? — спра́шивал Олени́н.

— Да не счита́л,— улыба́ясь отвеча́л Лука́шка.— От куна-
ка́ доста́л.

— Чу́до, красáвица ло́шадь! Что возьме́шь за неё? — спро-
си́л Олени́н.

— Давáли полтора́ста моне́тов, а вам так отда́м,— сказа́л
Лука́шка ве́село.— То́лько скажи́те, отда́м. Расседла́ю, и бе-
ри́. Мне како́го-нибудь дава́й служи́ть.

— Нет, ни за что.

— Ну, так вот я вам *пешке́ш* привез́,— и Лука́шка рас-
поя́сался и снял оди́н из двух кинжа́лов, кото́рые висели́ у
него́ на ремне́.— За реко́й доста́л.

— Ну, спаси́бо.

— А виногра́д ма́тушка обеща́ла сама́ прине́сть.

— Не ну́жно, ещё́ сочте́мся. Ведь я не ста́ну же дава́ть
тебе́ де́ньги за кинжа́л.

— Как мо́жно,— кунаки́! Меня́ та́к-то за реко́й Гире́й-хан
приве́л в са́клю, говори́т: выбира́й любо́е. Вот я э́ту ша́шку
и взял. Тако́й у нас зако́н.

Они́ вошли́ в ха́ту и выпили́.

— Что ж, ты поживе́шь здесь? — спроси́л Олени́н.

— Нет, я прости́ться пришёл. Меня́ тепе́рь с кордо́на услáли
в со́тню за Те́реком. Ны́нче еду́ с Наза́ром, с това́рищем.

¹ Тавро́ завод кабарди́нских лошаде́й Ло́ва счита́лся одни́м из лу́чших
на Кавка́зе. (Прим. Л. Н. Толсто́го.)

— А свадьба когда же?

— Вот скоро приеду, съговор будет, да и опять на службу,— неохотно отвечал Лука.

— Как же так, невесту не увидишь?

— Да так же! Что на неё смотреть-то? Вы как в походе будете, спросите у нас в сотне Лукашку Широкого. И кабанов там что! Я двух убил. Я вас свожу.

— Ну, прощай! Спаси тебя Христос.

Лукашка сел на коня и, не заехав к Марьянке, выехал, джигитую; на улицу, где уже ждал его Назарка.

— А что? Не заедем? — спросил Назарка, подмигивая на ту сторону, где жила Ямка.

— Вона! — сказал Лукашка. — На, веди к ней коня, а коли я долго не придё, ты коню сена дай. К утру всё в сотне буду.

— Что, юнкирь не подарил чего ещё?

— Не! Спасибо отдалил его кинжалом, а то коня было просить стал,— сказал Лукашка, слезая с лошади и отдавая её Назарке.

Под самым окном Оленина шмыгнул он на двор и подошёл к окну хозяйской хаты. Было уже совсем темно. Марьянка в одной рубашке чесала косу, собираясь спать.

— Это я,— прошептал казак.

Лицо Марьянки было строго-равнодушно; но оно вдруг ожило, как только она услышала своё имя. Она подняла окно и испуганно и радостно высунулась в него.

— Чего? Чего надо? — заговорила она.

— Отложй,— проговорил Лукашка.— Пустй меня на минуточку. Уж как наскучило мне! Страсть!

Он в окно обнял её голову и поцеловал.

— Право, отложй.

— Что говоришь пустое! Сказано, не пущу. Что ж, надолго?

Он не отвечал и только целовал её. И она не спрашивала больше.

— Вишь, и обнять-то в окно не достанешь хорошенько,— сказал Лукашка.

— Марьянушка! — слышался голос старухи.— С кем ты?

Лукáшка скинул ша́пку, чтобы по ней не примéтили его́, и присéл под окно́.

— Иди́ скорéй,— прошептáла Марья́на.

— Лукáшка заходи́л,— отвечáла она́ ма́тери,— батя́ку спрашивал.

— Что ж, пошли́ его́ сюда́.

— Ушё́л, говори́т, не́когда.

Действительно, Лукáшка бы́стрыми шага́ми, согну́вшись, вы́бежал под о́кнами на двор и побежа́л к Ямке; то́лько оди́н Олени́н и ви́дел его́. Вы́пив чапу́ры две чихиря́, они́ вы́ехали с Назáркой за стани́цу. Ночь была́ тёплая, тёмная и ти́хая. Они́ е́хали мо́лча, то́лько слы́шались шаги́ коней. Лукáшка запёл́ бы́ло пэ́сню про каза́ка Минга́ля, но, не допéв пёрвого стиха́, зати́х и обрати́лся к Назáрке.

— Ве́дь не пусти́ла,— сказа́л он.

— О! — отозва́лся Назáрка.— Я знал, что не пу́стит. Что мне Ямка ска́зывала: ю́нкирь к ним ходи́ть стал. Дя́дя Еро́шка хва́стал, что он с ю́нкиря фли́нту * за Марья́нку взял.

— Бре́шет он, че́рт! — серди́то сказа́л Лукáшка,— не та́кая де́вка. А то я ему́, ста́рому че́рту, бока́-то отомну́.— И он запёл́ свою́ люби́мую пэ́сню:

Из села́ бы́ло Изма́йлова,
Из люби́мого садо́чка су́дарева,
Там я́сен со́кол из са́дичка вылётывал,
За ни́м ско́ро вые́зживал млад охотничек,
Мани́л он я́сного со́кола на пра́ву ру́ку.
Отве́т де́ржит я́сен со́кол:
«Не уме́л ты меня́ держа́ть в золоти́й кле́тке
И на пра́вой руке́ не уме́л держа́ть,
Тепе́рь я полечу́ на си́не мо́ре;
Убью́ я себе́ бе́лого лебе́дя,
Наклюо́ся я мя́са сла́дкого, «лебе́ди́кого».

XXVIII

У хозя́ев был сго́вор. Лукáшка прие́хал в стани́цу, но не заше́л к Олени́ну. И Олени́н не поше́л на сго́вор по приглаше́нию хору́нжего. Ему́ бы́ло гру́стно, как не́ было ещё́ ни ра́зу с тех пор, как он посели́лся в стани́це. Он ви́дел, как Лукáш-



ка, нарядный, с матерью прошёл перед вечером к хозяевам, и его мучила мысль: за что Лукáшка так холоден к нему? Оленин заперся в свою хату и стал писать свой дневник.

«Много я передумал и много изменился в это последнее время,— писал Оленин,— и дошёл до того, что написано в азбучке. Для того чтоб быть счастливым, надо одно — любить, и любить с самоотвержением, любить всех и всё, раскидывать на все стороны паутину любви: кто попадётся, того и брать. Так я поймал Ванюшу, дядю Ерóшку, Лукáшку, Марьянку».

В то время как Оленин дописывал это, к нему вошёл дядя Ерóшка.

Ерóшка был в самом весёлом расположении духа. На днях, зайдя к нему вечером, Оленин застал его на дворе перед кабаньей тушей, которую он с счастливым и гордым лицом ловко свеживал * маленьким ножичком, Собáки, и между

ними любімец Лям, лежѣли ъколо и слегкѣ помѣхивали хвостѣми, глядя на его дѣло. Мальчишки с уваженіем смотрѣли на него через забор и даже не дразнили, как обыкновенно. Бѣбы-сосѣдки, вообще не слишком ласковые к нему, здоровались с ним и несли ему — кто чихиря кувшинчик, кто каймаку, кто мучицы. На другѣе утро Ерѣшка сидѣл у себя в клѣти весь в кровѣ и отпускал по фунтам свежину — кому за дѣньги, кому за вино. На лицѣ его написано было: «Бог дал счастье, убил звѣря; тепѣрь дядя нужен стал». Вслѣдствие этого, разумѣется, он запил и, не выходя из станицы,пил уже четвертый день. Кроме того, он пил на сговоре.

Дядя Ерѣшка пришѣл из хозяйской хаты к Олѣнину мертвецки пьяный, с красным лицѣм, растрѣпанною бородой, но в новом красном бешмете, обшитом галунѣми, и с балалайкой из травянки, которую он принѣс из-за реки. Он давно уже обещал Олѣнину это удовольствіе и был в духе. Увидѣв, что Олѣнин пьет, он огорчился.

— Пиши, пиши, отец мой, — сказал он шепотом, как будто предполагая, что какой-нибудь дух сидит между им и бумагой, и, боясь спугнуть его, без шума, потихоньку сел на пол. Когда дядя Ерѣшка бывал пьян, любимое положеніе его бывало на полу. Олѣнин оглянулся, велѣл подать вина и продолжал писать. Ерѣшке было скучно пить одному; ему хотѣлось поговорить.

— У хозяев на сговоре был. Да что, швиньи! Не хочѣ! Пришѣл к тебѣ.

— А балалайка откуда у тебѣ? — спросил Олѣнин и продолжал писать.

— За рекой был, отец мой, балалайку достал, — сказал он так же тихо. — Я мастер играть; татарскую, казацкую, господскую, солдатскую, какую хошь.

Олѣнин еще раз взглянул на него, усмехнулся и продолжал писать.

Улыбка эта ободрила старика.

— Ну, брось, отец ты мой! Брось! — сказал он вдруг решительно. — Ну, обидели тебѣ — брось их, плюнь! Ну, что пишешь, пишешь! что толку?

И он передразнил Олѣнина, постукивая своими толстыми

пальцами по полу и изогнув свою толстую рожу в презрительную гримасу.

— Что кляузы писать? Гуляй лучше, будь молодец!

О писании в его голове не умещалось другого понятия, кроме как о вредной кляузе.

Оленин расхохотался. Ерощка тоже. Он вскочил с пола и принялся показывать своё искусство в игре на балалайке и петь татарские песни.

— Что писать, добрый человек! Ты вот послушай лучше, я тебе спою. Сдохнешь, тогда песни не услышишь. Гуляй!

Сначала он спел своего сочинения песню с припляскою:

А ди-ди-ди-ди-ди-ли,
А где его видели?
На базаре в лавке,
Продаёт булавки.

Потом он спел песню, которой научил его бывший друг его, фельдфебель:

В понедельник я влюбился,
Весь оворник прострадал,
В среду в любви открылся,
В четверток ответу ждал.
В пятницу пришло решенье,
Чтоб не ждать мне утешенья.
А во светлую субботу
Жизнь окончить предпринял;
Но, храня души спасенье,
Я раздумал в воскресенье.

И опять:

А ди-ди-ди-ди-ди-ли,
А где его видели?

Потом, подмигивая, подёргивая плечами и выплясывая, спел:

Поцелую, обойму,
Алой лентой перевью,
Надёженькой назову,
Надёженька ты моя,
Верно ль любишь ты меня?

И так разгулялся, что, лихо подыгрывая, сделал молодецкую выходку и пошёл один плясать по комнате.

Песни: *ди-ди-ли* и тому подобные, *господские*, он спел только для Оленина; но потом, выпив ещё стака́на три чихиря́, он вспомнил старину́ и запёл настоящие казачские и татарские песни. В середине́ одной любимой его́ песни го́лос его́ вдруг задрожал, и он замолк, только продолжая́ брэнчать по струнам балалайки.

— Ах, друг ты мой! — сказа́л он.

Оленин огляну́лся на странный звук его́ го́лоса: старик плака́л. Слезы стояли в его́ глаза́х, и одна́ текла́ по щеке́.

— Прошло́ ты, моё вре́мечко, не вороти́шься, — всхлипывая, проговорил он и замолк. — Пей, что не пьёшь! — вдруг крикну́л он своим оглуша́ющим го́лосом, не отира́я слёз.

Особо́нно трогательна́ была́ для него́ одна́ та́влинская пёс-ня. Слов в ней бы́ло ма́ло, но вся прелесть её заклю́чалась в печальном припе́ве: «Ай, дай, далала́й!» Ерощка перевёл слова́ пёсни: «Мо́лодец погна́л баранту́ * из ау́ла в го́ры, ру́сские пришли́, зажгли́ ау́л, всех мужчи́н переби́ли, всех баб в плен побра́ли. Мо́лодец пришёл из гор: где был ау́л, там пусто́е ме́сто; ма́тери нет, бра́тьев нет, до́ма нет; одно́ де́рево оста́лось. Мо́лодец сел под де́рево и запла́кал. Оди́н, как ты, оди́н оста́лся, и запёл мо́лодец: ай, дай! далала́й!» И э́тот завыва́ющий, за ду́шу хвата́ющий припе́в старик повто́рил не́сколько раз.

Допева́я послéдний припе́в, Ерощка схвати́л вдруг со стени́ ружьё, торопли́во вы́бежал на двор и вы́стрелил из обо́их стволо́в вверх. И о́пять ещё печальнее запёл: «Ай! дай! далала́й а-а!» — и замолк.

Оленин, вы́йдя за ним на крыльцо́, мо́лча гляде́л в тёмное звёздное не́бо по тому́ направле́нию, где блесну́ли вы́стрелы. В до́ме у хозя́ев бы́ли огни́, слы́шались го́лоса́. На дворе́ де́вки толпи́лись у крыльца́ и о́кон и перебегали́ из *избу́шки* в сени́. Не́сколько каза́ков вы́скочили из сени́ и не вы́держали, заги́кали, вто́ря оконча́нию пёсни и вы́стрелам дя́ди Ерощки.

— Что ж ты не на сго́воре? — спроси́л Оленин.

— Бог с ни́ми, бог с ни́ми! — проговорил старик, кото́рого,

видимо, чѣм-нибудь там обидели.— Не люблю, не люблю! Эх, народ! Пойдѣм в хату! Онѣ сами по себѣ, а мы сами по себѣ гуляем.

Олѣнин вернулся в хату.

— А что Лукашка, весел? Не зайдѣт он ко мне? — спросил он.

— Что Лукашка! Ему наврали, что я тебѣ дѣвку подвожѹ,— сказал старик шѣпотом.— А что дѣвка? Будет наша, коли захотим: денег дай больше — и наша! Я тебѣ сделаю, право.

— Нет, дядя, деньги ничего не сделают, коли не любит. Лучше и не говори про это.

— Нелюбимые мы с тобой, сироты! — вдруг сказал дядя Ерощка и опять заплакал.

Олѣнин выпил болѣе обыкновеннаго, слушая рассказы старика. «Так вот, тепѣрь Лукашка мой счастлив»,— думал он; но ему было грустно. Старик напился в этот вечер до того, что повалился на пол, и Ванюшка должен был призвать себѣ на помощь солдат и, отплѣвываясь, вытащить его. Он был так озлоблен на старика за его дурное поведѣние, что уже ничего не сказал по-французски.

XXIX

Был август мѣсяц. Нескільки дней сряду не было ни облака на небѣ; солнце пекло невыносимо, и с утра дул теплый ветер, поднимая в бурунах и по дороге облака горячего песка и разнося его по воздуху через камыши, деревья и станицы. Трава и листья на деревьях были покрыты пылью; дороги и солончакѣ были обнажены и звучно тверды. Вода давно сбыла в Тѣреке и быстро сбегала и сохла по канавам. В прудѣ около станицы оголялись истоптанные скотиной иловатые берега пруда, и целый день слышны были в водѣ всплески и крики дѣвок и мальчишек. В степи уже засыхали буруны и камыши, и скотина, мыча, днѣм убегала в поля. Зверь откочевывал в дальние камыши и в горы за Тѣрек. Комары и мошки тучами стояли над низами и станицами. Снеговѣе горы закрывались серым туманом. Воздух был рѣдок и смраден. Абрѣки,

слышно было, переправились через обмелевшую реку и рыскали по эту сторону. Солнце каждый вечер садилось в горячее красное зарево. Было время самое рабочее. Всё население станиц кишело на арбузных бахчах и в виноградниках. Сады глухо заросли выходящей зеленью и прохладною густою тенью. Везде чернели из-за широких просвечивающих листьев спелые тяжёлые кисти. По пыльной дороге, ведущей к садам, тянулись скрипучие арбы, верхом наложенные чёрным виноградом. На пыльной дороге, измятые колёсами, валялись кисти. Мальчишки и девочки в испачканных виноградным соком рубашонках, с кистями в руках и во рту бегали за матерями. На дороге беспрестанно попадались оборванные работники, несёя на сильных плечах плетушки винограда. Обвязанные до глаз платками мамушки вели быков, запряжённых в высоко наложенные виноградом арбы. Солдаты, встречая арбу, просили у казачек винограда, и казачка, на ходу взлезая на арбу, брала охапку винограда и сыпала её в полу солдата. На некоторых дворах уже жали виноград. Запах чапры наполнял воздух. Кровяные красные корыта виднелись под навёсами, и ногайцы-работники с засученными ногами и окрашенными икрами виднелись по дворам. Свины, фыркая, лопали выжимки и валялись в них. Плоские крыши избушек были сплошь уложены чёрными янтарными кистями, которые вяли на солнце. Воробы и соробы, подбирая зёрна, жались около крыш и перепархивали с места на место.

Плоды годовых трудов весело собирались, и нынешний год плоды были необычайно обильны и хороши.

В тенистых зелёных садах, среди моря виноградника, со всех сторон слышались смех, песни, веселье, женские голоса и мелькали яркие цветные одежды женщин.

В самый полдень Марьяна сидела в своём саду, в тени персикового дерева, и из-под отпряжённой арбы вынимала обед для своего семейства. Против неё на разобланной попоне сидел хорунжий, вернувшийся из школы, и мыл руки из кувшинчика. Мальчишка, её брат, только что прибежавший из пруда, отираясь рукавами, спокойно поглядывал на сестру и мать в ожидании обеда и тяжело переводил дыхание. Старуха мать, засучив сильные загорелые руки, раскладывала



виноград, сушёную рыбу, каймак и хлеб на низеньком круглом татарском столике. Хорунжий, отерев руки, снял шапку, перекрестился и придвинулся к столу. Мальчишка схватился за кувшин и жадно принялся пить. Мать и дочь, поджав ноги, сели к столу. И в тени пекло невыносимо. В воздухе над садом стоял смрад. Тёплый сильный ветер, проходивший сквозь ветви, не приносил прохлады, а только однообразно гнул вершины рассыпанных по садам грушевых, персиковых и тутовых

деревьев. Хорунжий, ещё раз помолвившись, достал из-за спины закрытый виноградным листом кувшинчик с чихирём и, выпив из горлышка, подал старухе.

Хорунжий был в одной рубашке, расстегнутой на шее и открывавшей мускулистую мохнатую грудь. Тонкое, хитрое лицо его было весело. Ни в позе, ни в говоре его не проглядывало его обычной политичности; он был весел и натурален.

— А к вечеру кончим за *лапазом** край? — сказал он, утирая мокрую бороду.

— Уберёмся, — отвечала старуха, — только бы погода не задержала. Дёмкины ещё половины не убрали, — прибавила она. — Одна Устенка работает, убивается.

— Где же им! — гордо сказал старик.

— На, испей, Марьянушка! — сказала старуха, подавая кувшин девочке. — Вот, бог даст, будет чем свадьбу сыграть, — сказала старуха.

— Дело впереди, — сказал хорунжий, слегка нахмурившись.

Девка опустила голову.

— Да что ж не говоришь? — сказала старуха — Дело покончили, уж и время недалече.

— Не загадывай, — опять сказал хорунжий. — Теперь убираться надо.

— Видал коня-то нового у Лукашки? — спросила ста-

ру́ха.— Что Митрий-то Андрéич подарил, тогó уж нет: он вы-менял.

— Нет, не видал. А говорил я с холопом постояльцевым нынче,— сказал хорунжий,— говорит, опять получил тысячу рублéй.

— Богáч, одно́ слово,— подтвердила старуха.

Всё семейство было вéсело и дово́льно.

Работа подвигáлась успешно. Винограду было бóльше, и он был лúчнее, чем они сáми ожида́ли.

Марьяна, пообéдав, подложи́ла быка́м травы́, сверну́ла свой бешмёт под гóловы и легла́ под арбóй на примя́тую со́чную траву́. На ней была́ одна́ красная *сорóчка*, то есть шёлковый платок на головé, и голубая́ полиня́лая ситцевая руба́ха; но ей было невыно́симо жа́рко. Лицо́ её горéло, но́ги не находили́ мéста, глаза́ были́ подёрнуты вла́гой сна и устáлости; гýбы нево́льно открывáлись, и грудь дышáла тяжело́ и высоко́.

Рабочая́ порá уже́ началáсь две недéли томú назáд, и тяжёлая́, непрестáнная рабóта занимáла всю жизнь молодóй дéвки. Ранним úтром на зарé она́ вска́кивала, обмывáла лицо́ холо́дной водо́й, уку́тывалась платко́м и босико́м бежа́ла к скоти́не. Нáскоро обувáлась, надева́ла бешмёт и, взяв в узелок хлéба, запряга́ла быко́в и на цéлый день уезжа́ла в сады́. Там то́лько часок отды́хала, рéзала, таска́ла плету́шки и вéчером, весёлая́ и не устáлая, таща́ быко́в за верёвку и подгоня́я их дли́нною хворостíной, возвращáлась в станицу́. Убра́в скоти́ну сýмерками, захватив сéмечек в ширóкий рука́в руба́хи, она́ выходила́ на́ угол, посмеяться́ с дéвками. Но то́лько потухáла заря́, она́ уже́ шла в хату́ и, поужинав в тёмной *избу́шке* с отцо́м, ма́терью и брати́шкой, беззабо́тная, здоро́вая, входила́ в хату́, садилáсь на печь и в полудремóте слýшала разгово́р постоя́льца. Как то́лько он уходил, она́ броса́лась на постéль и до утра́ засыпа́ла непробу́дным, спокойным сном. На друго́й день было́ то же. Лука́шку она́ не видала́ с сáмого дня сгóвора и спокойно́ ждалá вре́мени сва́дьбы. К постоя́льцу она́ привы́кла и с удово́льствием чу́ствовала́ на себé его́ пристальные взгляды́.

Несмотря на то, что от жару некуда было деваться, что комары роями вились в прохладной тени арбы и что мальчишка, ворочаясь, толкал её, Марьяна натянула себе на голову платок и уж засыпала, как вдруг Устенка, соседка, прибежала к ней и, нырнув под арбу, легла с ней рядом.

— Ну, спать, девки! Спать! — говорила Устенка, укладываясь под арбой. — Стой, — сказала она, вскакивая, — так не ладно.

Она вскочила, нарвала зелёных веток и с двух сторон привесила к колёсам арбы, ещё свёрху накинув бешметом.

— Ты пусти, — закричала она мальчишке, подлезая опять под арбу, — разве казакам место с девушками? Ступай!

Оставшись под арбой одна с подругой, Устенка вдруг обхватила её обеими руками и, прижимаясь к ней, начала целовать Марьяну в щёки и шею.

— Миленький! братец, — приговаривала она, заливаясь своим тоненьким, отчётливым смехом.

— Видишь, у дедушки научилась, — отвечала Марьяна, отбиваясь. — Ну, брось!

И они обе так расхохотались, что мать крикнула на них.

— Аль завидно? — шепотом сказала Устенка.

— Что врешь! Давай спать. Ну, зачем пришла?

Но Устенка не унималась:

— А что я тебе скажу, так ну!

Марьяна приподнялась на локоть и поправила сбившийся платок.

— Ну, что скажешь?

— Про твоего постояльца я что знаю!

— Ничего знать, — отвечала Марьяна.

— Ах ты плут-девка! —



сказала Устенка, толкая её локтем и смеясь.— Ничего не скажешь. Ходит к вам?

— Ходит. Так что ж! — сказала Марьяна и вдруг покраснела.

— Вот я девушка простая, я всем расскажу. Что мне прятаться,— говорила Устенка, и веселое румяное лицо приняло задумчивое выражение.— Разве я кому дурно делаю? Люблю его, да и всё тут!

— Дедушку-то, что ль?

— Ну да.

— А грех! — возразила Марьяна.

— Ах, Машенька! Когда же и гулять, как не на девичьей воле? За казака пойду, рожать стану, нужду узнаю. Вот ты пойдёшь замуж за Лукашку, тогда и в мысль радость не пойдёт, дети пойдут да работа.

— Что ж, другим и замужем жить хорошо. Всё равно! — спокойно отвечала Марьяна.

— Да ты расскажи хоть раз, что у вас с Лукашкой было?

— Да что было? Сватал. Батюшка на год отложил; а нынче сговорили, осенью отдадут.

— Да он что тебе говорил?

Марьяна улыбнулась.

— Известно, что говорил. Говорил, что любит. Всё просил в сады с ним пойти.

— Вишь, смола какой! Ведь ты не пошла, чай. А он какой теперь молодец стал! первый джигит. Всё и в сотне гуляет. Намедни приезжал наш Кирка, говорил: коня какого выменял! А всё, чай, по тебе скучает. А ещё что он говорил? — спросила Марьяну Устенка.

— Всё тебе знать надо, — засмеялась Марьяна. — Раз на коне ночью приехал к окну, пьяный. Просился.

— Что ж, непустила?

— А то пустить! Я раз слово сказала, и будет! Твёрдо, как камень,— серьёзно отвечала Марьяна.

— А молодец! Только захоти, никакая девушка им не побрезгает.

— Пускай к другим ходит,— гордо ответила Марьяна.

— Не жалеешь ты его?

— Жалёю, а глупости не сделаю. Это дурно.

Устенка вдруг упала головой на грудь подружке, обхватила её руками и вся затряслась от давившего её смеха.

— Глупая ты дура! — проговорила она запыхавшись, — счастья себе не хочешь, — и опять принялась щекотать Марьяну.

— Ай, брось! — говорила Марьяна, вскрикивая сквозь смех. — Лазутку раздавила.

— Вишь, черти, разыгрались, не умаялись, — слышался опять из-за арбы сонный голос старухи.

— Счастья не хочешь, — повторила Устенка шёпотом и привставая. — А счастлива ты, ей-богу! Как тебя любят! Ты корявая такая, а тебя любят. Эх, кабы я да на твоём месте была, я бы постояльца вашего так окрутила! Посмотрела я на него, как у нас были, так, кажется, и съел бы он тебя глазами. Мой дедушка — и тот чего мне не надавал! А ваш, слышь, из русских богач первый. Его денщик сказывал, что у них свой холопи есть.

Марьяна привстала и, задумавшись, улыбнулась.

— Что он мне раз сказал, постоялец-то, — проговорила она, перекусывая травинку. — Говорит: я бы хотел казакком Лукашкой быть или твоим братишкой, Лазуткой. К чему это он так сказал?

— А так, врёт, что на ум взбрело, — отвечала Устенка. — Мой чего не говорит! Точно порченый!

Марьяна бросилась головой на свёрнутый бешмет, кинула руку на плечо Устенке и закрыла глаза.

— Нынче хотел в сады работать прийти; его батюшка звал, — проговорила она, помолчав немного, и заснула.

XXXI

Солнце вышло уже из-за груши, отнявшей арбу, и косыми лучами, даже сквозь ветви, переплетённые Устенкой, жгло лица девок, спавших под арбой. Марьяна проснулась и стала убираться платком. Оглядевшись кругом, она увидела за грушей постояльца, который с ружьём на плече стоял и разго-



в́аривал с её отцём. Она́ толкану́ла Устенку и мо́лча, улыбу́вшись, указа́ла ей на него́.

— Вче́ра я хо́дил, ни одно́го не нашёл,— говори́л Оле́нин, беспоко́йно погла́дывая круго́м и из-за ве́ток не ви́дя Ма́рьяны.

— А вы вон к то́му кра́ю, пра́мо по ци́ркулю пройди́те, там в забро́шенном са́ду, пу́стырём прозыва́ется, все́гда за́йцы нахо́дятся,— сказа́л хо́рунжий, то́тчас изме́няя свой язы́к.

— Легко ли в рабочую пору ходить зайцев искать! Приходили бы лучше нам подсобить. С девушками поработали бы, — весело сказала старуха. — Ну, девушки, вставайте! — крикнула она.

Марьяна и Устенка шептались и едва удерживались от смеха под арбой.

С тех пор как стало известно, что Оленин подарил коня в пятьдесят монетов Лукашке, хозяева его стали ласковее; особенно хорунжий, казалось, видел с удовольствием его сближение с дочерью.

— Да я не умею работать, — сказал Оленин, стараясь не смотреть сквозь зелёные ветви под арбой, где он заметил голубую рубашу и красный платок Марьяны.

— Приходи, шепталок¹ дам, — сказала старуха.

— По казачьей гостеприимной старине, одна старушечья глупость, — сказал хорунжий, объясняя и как бы исправляя слова старухи: — в России, я думаю, не только шепталок, сколько ананазных варений и мочений кушали в своё удовольствие.

— Так в заброшенном саду есть? — спросил Оленин. — Я схожу, — и, бросив быстрый взгляд сквозь зелёные ветви, он приподнял папаху и скрылся между правильными зелёными рядами виноградника.

Уже солнце спряталось за оградой садов и раздробленными лучами блестело сквозь прозрачные листья, когда Оленин вернулся в сад к своим хозяевам. Ветер стихал, и свежая прохлада начинала распространяться в виноградниках. Ещё издавлекá каким-то инстинктом Оленин узнал голубую рубашу Марьяны сквозь ряды лоз и, обрывая ягоды, подошёл к ней. Зарывшая собака тоже иногда схватывала слюнявым ртом низко висевшую кисть. Раскрасневшись, засучив рукава и опустив платок ниже подбородка, Марьянка быстро срезала тяжёлые кисти и складывала их в плетушку. Не выпуская из рук плети, которую она держала, она остановилась, ласково улыбнулась и снова принялась за работу. Оленин приблизился и перекинул ружьё за плечи, чтоб освободить руки. «А твой

¹ Шепталá — сушёные абрикосы или персики с косточками.

где? бог помочь! Ты одна?» — хотёл он сказать, но не сказал ничего и только приподнял папаху. Ему было неловко наедине с Марьянкой, но он, как будто нарочно мучая себя, подошёл к ней.

— Ты этак баб из ружья застрелишь,— сказала Марьяна.

— Нет, я не стреляю.

Они оба помолчали.

— Ты бы подсобил.

Он достал ножичек и стал молча резать. Достав снизу из-под листьев тяжёлую, фунта в три, сплошную кисть, в которой все ягоды сплюснулись одна на другую, не находя себе места, он показал её Марьяне.

— Всё резать? Эта не зелёная?

— Давай сюда.

Руки их столкнулись. Оленин взял её руку, и она, улыбаясь, глядела на него.

— Что, ты скоро замуж выйдешь? — сказал он.

Она, не отвечая, отвернулась и повела на него своими строгими глазами.

— Что, ты любишь Лукашку?

— А тебе что?

— Мне завидно.

— Легко ли!

— Право, ты такая красавица!

И ему вдруг стало страшно совестно за то, что он сказал: так пошло, казалось ему, звучали его слова. Он вспыхнул, растерялся и взял её за обе руки.

— Какая ни есть, да не про тебя! Что смеяться-то! — отвечала Марьяна, но взгляд её говорил, как твёрдо она знала, что он не смеялся.

— Как смеяться! Ежели бы ты знала, как я...

Слова звучали ещё пошлее, ещё несогласнее с тем, что он чувствовал; но он продолжал:

— Я не знаю, что готов для тебя сделать...

— Отстань, смоля!

Но её лицо, её блестящие глаза, её высокая грудь, стройные ноги говорили совсем другое. Ему казалось, что она понимала, как было пошло всё, что он говорил ей, но стояла выше

таких соображений; ему казалось, что она давно знала всё то, что он хотел и не умел сказать ей, но хотела послушать, как он это скажет ей. «И как ей не знать,— думал он, — когда он хотел сказать ей лишь только всё то, что она сама была? Но она не хотела понимать, не хотела отвечать»,— думал он.

— Ах! — вдруг послышался недалеко за виноградником голосок Устеньки и её тонкий смех.— Приходи, Митрий Андреевич, мне подсоблять. Я одна! — прокричала она Оленину, высывая из-за листьев своё круглое наивное личико.

Оленин ничего не отвечал и не двигался с места.

Марьянка продолжала резать, но беспреостанно взглядывала на постояльца. Он начал было говорить что-то, но остановился, вздёрнул плечами и, вскинув ружьё, скорыми шагами пошёл из сада.

XXXII

Раза два он останавливался, прислушиваясь к звонкому смеху Марьяны и Устеньки, которые, сойдясь вместе, кричали что-то. Целый вечер Оленин проходил в лесу на охоте. Ничего не убив, он вернулся уж сумерками. Пройдя по двору, он заметил отворенную дверь в хозяйской *избушке* и видневшуюся из неё голубую рубашку. Он особенно громко кликнул Ванюшу, чтобы дать знать о своём приходе, и сел на крыльце на обычное место. Хозяева уже вернулись из садов; они вышли из *избушки*, прошли в свою хату и не позвали его к себе. Марьяна два раза выходила за ворота. Один раз в полусвете ему показалось, что она оглянулась на него. Он жадно следил глазами за каждым её движением, но не решился подойти к ней. Когда она скрылась в хате, он сошёл с крыльца и начал ходить по двору. Но Марьяна уже не выходила. Целую ночь Оленин провёл без сна на дворе, прислушиваясь к каждому звуку в хозяйской хате. Он слышал, как с вечера они говорили, как ужинали, как вытаскивали пуховики и укладывались спать; слышал, как чему-то засмеялась Марьяна; слышал потом, как всё затихло. Хорунжий переговаривал что-то шепотом с старухой, и кто-то дышал. Он зашёл в свою хату. Ванюша, не раздеваясь, спал. Оленин позавидовал ему и опять принял-

ся ходить по двору, всё ожидая чего-то; но никто не выходил, никто не шевелился; только слышалось равномерное дыхание трёх человек. Он знал дыхание Марьяны и всё слушал его и слушал стук своего сердца. В станице всё затихло, поздний месяц взошёл, и стала виднее скотина, пыхтёвшая по дворам, ложившаяся и медленно встававшая. Оленин со злобой спрашивал себя: «Чего мне нужно?» — и не мог оторваться от своей ноши. Вдруг ясно послышались ему шаги и скрип половицы в хозяйской хате. Он бросился к дверям; но опять ничего не было слышно, кроме равномерного дыхания, и опять на дворе после тяжёлого вздоха поворачивалась буйволица, вставая на передние колёны, потом на все ноги, взмахивала хвостом, и равномерно шлёпало что-то по сухой глине двора, и опять со вздохом укладывалась она в месячной мгле... Он спрашивал себя: «Что мне делать?» — и решительно собирался идти спать; но опять послышались звуки, и в воображении его возникал образ Марьянки, выходившей на эту месячную туманную ночь, и опять он бросался к окну, и опять слышал шаги. Уже перед светом подошёл он к окну, толкнул в ставень, перебежал к двери, и действительно слышался вздох Марьянки и шаги. Он взялся за щекёлду и постучал. Босые, осторожные шаги, чуть скрипя половицами, приближались к двери. Зашевелилась щекёлда, скрипнула дверь, пахнуло запахом душицы и тыквы, и на пороге показалась вся фигура Марьянки. Он видел её только мгновение при месячном свете. Она захлопнула дверь и, что-то прошептав, побежала лёгкими шагами назад. Оленин стал стучать слегка: ничто не отзывалось. Он перебежал к окну и стал слушать. Вдруг резкий, визгливый мужской голос поразил его.

— Славно! — сказал невысокий казачёнок в белой папахе, близко подходя со двора к Оленину. — Я видел, славно!

Оленин узнал Назарку и молчал, не зная, что делать и говорить.

— Славно! Вот я в станичное пойду, докажу и отцу скажу. Вишь, хорунжиха какая! Ей одного мало.

— Чего ты от меня хочешь, что тебе надо? — выговорил Оленин.

— Ничего, я только в станичном скажу.

Назárка говорíл óчень грóмко, вíдимо нарóчно.

— Вишь, лóвкий *юнкирь* какóй!

Олéнин дрожа́л и бледнёл.

— Поди́ сюда́, сюда́! — Он си́льно ухватíл его́ за руку и отвёл его́ к своéй хáте.

— Ведь ничегó нé было, она́ меня́ не пусти́ла, и я ничегó... Она́ чéстная...

— Ну там, разбира́ть...— сказа́л Назáрка.

— Да я всё равно́ тебé дам... Вот постóй!..

Назáрка замолча́л. Олéнин вбежа́л в свою́ хáту и вы́нес каза́ку дéсять рублéй.

— Ведь ничегó нé было. Да всё равно́, я виновáт, вот я и даю́! Тóлько, рáди бóга, чтóбы никто́ не знал. Да ничегó нé было...

— Счастли́во остава́ться,— смея́сь сказа́л Назáрка и вы́шел.

Назáрка приезжа́л в э́ту ночь в станицу́ по поручéнию Лукашки — пригото́вить мéсто для кра́деной лóшади — и, проходя́ домо́й по у́лице, слы́шал звúки шагов. Он верну́лся на друго́е у́тро в со́тню и, хва́стаясь, рассказа́л товари́щу, как он лóвко добы́л дéсять *монéтов*. На друго́е у́тро Олéнин вíделся с хозя́евами, и никто́ ничегó не знал. С Марья́ной он не говори́л, и она́ тóлько посмéивалась, глядя́ на него́. Ночь он опя́ть прове́л без сна, тщéтно бродя́ по двору́. Сле́дующий день он нарóчно прове́л на охóте, и вéчером, чтóбы бежа́ть от себя́, ушё́л к Белéцкому. Он боя́лся себя́ и дал себе́ сло́во не захо́дить бо́льше к хозя́евам. На сле́дующую́ ночь разбудíл Олéнина фельдфе́бель. Рóта тóтчас же выступи́ла в набéг. Олéнин обра́довался э́тому слúчаю и думáл не верну́ться ужé бо́лее в станицу́.

Набéг продолжа́лся четы́ре дня. Нача́льник пожела́л вíдеть Олéнина, с котóрым он был в родстве́, и предложи́л ему́ оста́ться в шта́бе. Олéнин отказа́лся. Он не мог жить без своéй станицы́ и проси́лся домо́й. За набéг ему́ навеси́ли солда́тский крест, котóрого он так желáл пре́жде. Тепéрь же он был соверше́нно равноду́шен к э́тому кресту́ и ещё́ бо́лее равноду́шен к представлéнию в офице́ры, котóрое всё ещё́ не выхо́дило. Он без ока́зии проéхал с Ваню́шей на ли́нию и нé-

сколькими часами опередил свою роту. Оленин весь вечер провёл на крыльце, глядя на Марьяну. Всю ночь он опять без цели, без мысли ходил по двору.

XXXIII

На другое утро Оленин проснулся поздно. Хозяев уже не было. Он не пошёл на охоту и то брался за книгу, то выходил на крыльцо и опять входил в хату и ложился на постель. Ванюша думал, что он болен. Перед вечером Оленин решительно встал, принялся писать и писал до поздней ночи. Он написал письмо, но не послал его, потому что никто всё-таки бы не понял того, что он хотел сказать, да и незачем кому бы то ни было понимать это, кроме самого Оленина. Вот что он писал:

«Мне пишут из России письма соболёзнования; боятся, что я погибну, зарывшись в этой глуши. Говорят про меня: он загрубеет, от всего отстанет, станет пить и ещё, чего доброго, жёнится на казачке. Недаром, говорят, Ермолов сказал: кто десять лет прослужит на Кавказе, тот либо сопьётся с кругу, либо жёнится на распутной жёнщине. Как страшно! В самом деле, не погубить бы мне себя, тогда как на мою долю могло бы выпасть великое счастье стать мужем графини Б***, камергером или дворянским предводителем. Как вы мне все гадки и жалки! Вы не знаете, что такое счастье и что такое жизнь! Надо раз испытать жизнь во всей её безыскусственной красоте. Надо видеть и понимать, что я каждый день вижу перед собой: вечные неприступные снега гор и величавую жёнщину в той первобытной красоте, в которой должна была выйти первая жёнщина из рук своего творца, и тогда ясно станет, кто себя губит, кто живёт в правде или во лжи — вы или я. Коли бы вы знали, как мне мерзки и жалки вы в вашем обольщении! Как только предстаются мне вместо моей хаты, моего леса и моей любви эти гостиные, эти жёнщины с припомаженными волосами над подсунутыми чужими бёклями, эти неестественно шевелящиеся губки, эти спрятанные и изуродованные слабые члены и этот лепет гостиных, обязанный быть разговором и не имеющий никаких прав на это, — мне становится невыно-

симо гáдко. Представляются мне эти тупые лица, эти богатые невесты с выражением лица, говорящим: «Ничего, можно, подходи, хоть я и богатая невеста»; эти усаживанья и пересаживанья, это наглое сводничанье пар и эта вечная сплетня, притворство; эти правила — кому руку, кому кивок, кому разговор, и наконец эта вечная скука в крови, переходящая от поколения к поколению (и всё сознательно, с убеждением в необходимости). Поймите одно или поверьте одному. Надо видеть и понять, что такое правда и красота, и в прах разлетится всё, что вы говорите и думаете, все ваши желанья счастья и за меня, и за себя. Счастье — это быть с природой, видеть её, говорить с ней. «Ещё он, избави бóже, жéнится на простóй казáчке и совсём пропадёт для свёта», — воображаю, говорят они обо мне с истинным состраданием. А я только одного и желаю: совсём пропасть в вашем смысле, желаю жениться на простóй казáчке и не смею этого потому, что это было бы верх счастья, которого я недостóин.

Три мéсяца прошлó с тех пор, как я в пёрвый раз увидáл казáчку Марьяну. Понятия и предрассудки того мíра, из которóго я вíшел, ещё были свежи во мне. Я тогда не вёрил, что могу полюбить эту жéнщину. Я любовáлся ёю, как красотóю гор и нёба, и не мог не любовáться ёю, потому что она прекрáсна, как и они́. Потóм я почувствовал, что созерцáние этой красоты сдéлалось необходимостю в моёй жízни, и я стал спрашивать себя: не люблю ли я её? Но ничего похóжего на то, как я воображáл это чýвство, я не нашёл в себе. Это было чýвство, не похóжее ни на тоску одиночества и желáние супружества, ни на платоническую, ни ещё мéнее на плóтскую любовь, которые я испытывал. Мне нýжно было видеть, слышать её, знать, что она блízко, и я бывáл не то что счáстлив, а спокоён. Пóсле вечеринки, на которóй я был вмéсте с нёю и прикосну́лся к ней, я почувствовал, что мéжду мной и этою жéнщиной существует неразрýбная, хотя и не признáнная связь, прóтив которóй нельзя борóться. Но я ещё борóлся; я говорíл себе: неужели мóжно любить жéнщину, которáя никогда не поймёт задушéвных интересов моёй жízни? Неужели мóжно любить жéнщину за одну красотóу, любить жéнщину-стáтую? — спрашивал я себя, а ужé любíл её, хотя ещё не вёрил своему чýвству.

После вечеринки, на которой я в первый раз говорил с ней, наши отношения изменились. Прежде она была для меня чуждым, но величавым предметом внешней природы; после вечеринки она стала для меня человеком. Я стал встречать её, говорить с нею, ходить иногда на работы к её отцу и по целым вечерам просиживать у них. И в этих близких сношениях она осталась в моих глазах всё столь же чистою, неприступною и величавою. Она на всё и всегда отвечала одинаково спокойно, гордо и весело-равнодушно. Иногда она бывала ласкова, но большею частью каждый взгляд, каждое слово, каждое движение её выражали это равнодушие, не презрительное, но подавляющее и чарующее. Каждый день с притворною улыбкой на губах я старался подделаться под что-то и с мукой страсти и желаний в сердце шуточно заговаривал с ней. Она видела, что я притворяюсь: но прямо, весело и просто смотрела на меня. Мне стало невыносимо это положение. Я хотел не лгать перед ней и хотел сказать всё, что я думаю, что я чувствую. Я был особенно раздражён; это было в садах. Я стал говорить ей о своей любви такими словами, которые мне стыдно вспомнить. Стыдно вспомнить потому, что я не должен был сметь говорить ей этого, потому что она неизмеримо выше стояла этих слов и того чувства, которое я хотел ими выразить. Я замолчал, и с этого дня моё положение сделалось невыносимо. Я не хотел унижаться, оставаясь в прежних шуточных отношениях, и чувствовал, что я не дорос до прямых и простых отношений к ней. Я с отчаянием спрашивал себя: что же мне делать? В нелепых мечтах я воображал её то своею любовницей, то своею женой и с отвращением отталкивал и ту и другую мысль. Сделать её девкой было бы ужасно. Это было бы убийство. Сделать её барыней, женою Дмитрия Андреевича Оленина, как одну из здешних казачек, на которой женился наш офицер, было бы ещё хуже. Вот ежели бы я мог сделаться казаком, Лукашкой, красть табуны, наниваться чихирю, заливаться песнями, убивать людей и пьяным влезать к ней в окно на ночьку, без мысли о том, кто я и зачем я? Тогда бы другое дело: тогда бы мы могли понять друг друга, тогда бы я мог быть счастлив. Я пробовал отдаваться этой жизни и ещё сильнее чувствовал свою слабость, свою изломанность. Я не мог

забыть себя и своего сложного, негармонического, уродливого прошедшего. И моё будущее представляется мне ещё безнадежнее. Каждый день передо мною далёкие снежные горы и эта величавая, счастливая женщина. И не для меня единственно возможное на свете счастье, не для меня эта женщина! Самое ужасное и самое сладкое в моём положении то, что я чувствую, что я понимаю её, а она никогда не поймёт меня. Она не поймёт не потому, что она ниже меня, напротив, она не должна понимать меня. Она счастлива; она, как природа, равна, спокойна и сама в себе. А я, исковерканное, слабое существо, хочу, чтоб она поняла моё уродство и мои мучения. Ночи я не спал и без всякой цели проводил под её окнами и не отдавал отчёта себе в том, что со мною было. 18-го числа наша рота ходила в набег. Я три дня провёл вне станицы. Мне было грустно и всё равно. В отряде песни, карты, попойки, толки о наградах мне были противнее обыкновенного. Я нынче вернулся домой, увидел её, свою хату, дядю Ерощку, снеговые горы с своего крылечка, и такое сильное новое чувство радости охватило меня, что я всё понял. Я люблю эту женщину настоящей любовью, в первый и единственный раз моей жизни. Я знаю, что со мной. Я не боюсь унизиться своим чувством, не стыжусь своей любви, я горд ею. Я не виноват, что я полюбил. Это сделалось против моей воли. Я спасался от своей любви в самоотвержении, я выдумывал себе радость в любви казака Лукашки с Марьянкой и только раздражал свою любовь и ревность. Это не идеальная, так называемая возвышенная любовь, которую я испытывал прежде; не то чувство влечения, в котором любуешься на свою любовь, чувствуешь в себе источник своего чувства и всё делаешь сам. Я испытывал и это. Это ещё меньшее желание наслаждения, это что-то другое. Может быть, я в ней люблю природу, олицетворение всего прекрасного природы; но я не имею своей воли, а чрез меня любит её какая-то стихийная сила, весь мир божий, вся природа вдавливают любовь эту в мою душу и говорят: люби. Я люблю её не умом, не воображением, а всем существом моим. Любя её, я чувствую себя нераздельною частью всего счастливого божьего мира. Я писал прежде о своих новых убеждениях, которые вынес из своей одинокой жизни; но никто не

может знать, каким трудом выработались они во мне, с какой радостью сознал я их и увидал новый, открытый путь в жизни. Дорожке этих убеждений ничего во мне не было... Ну... пришла любовь, и их нет теперь, нет и сожаления о них! Даже понять, что я мог дорожить таким односторонним, холодным, умственным настроением, для меня трудно. Пришла красота и в прах рассеяла свою египетскую жизненную внутреннюю работу. И сожаления нет о исчезнувшем. Самоотвержение — всё это вздор, дичь. Это всё гордость, убежище от заслуженного несчастья, спасение от зависти к чужому счастью. Жить для других, делать добро! Зачем? когда в душе моей одна любовь к себе и одно желание — любить её и жить с нею, её жизнью. Не для других, не для Лукашки я теперь желаю счастья. Я не люблю теперь этих других. Прежде я бы сказал себе, что это дурно. Я бы мучился вопросами: что будет с ней, со мной, с Лукашкой? Теперь мне всё равно. Я живу не сам по себе, но есть что-то сильнее меня, руководящее мною. Я мучаюсь, но прежде я был мёртв, а теперь только я живу. Нынче я пойду к ним и всё скажу ей».

XXXIV

Написав это письмо, Оленин поздно вечером пошёл к хозяевам. Старуха сидела на лавке за печью и сучила коконы. Марьяна с непокрытыми волосами шила у свечей. Увидав Оленина, она вскочила, взяла платок и подошла к печи.

— Что ж, посиди с нами, Марьянушка, — сказала мать.

— Не, я простоголовая. — И она вскочила на печь.

Оленину видно было только её колёно и стройная спущенная нога. Он угощал старуху чаем. Старуха угостила гостя каймаком, за которым посылала Марьяну. Но, поставив тарелку на стол, Марьяна опять вскочила на печь, и Оленин чувствовал только её глаза. Они разговорились о хозяйстве. Бабука Улита расходилась и пришла в восторг гостеприимства. Она принесла Оленину мочёного винограда, лепёшку с виноградом, лучшего вина и с тем особенным, простонародным, грубым и гордым гостеприимством, которое бывает только у людей, физическими трудами добывающих свой хлеб, принялась уго-

шать Оленина. Старуха, которая сначала так поразила Оленина своей грубостью, теперь часто трогала его своей простой нежностью в отношении к дочери.

— Да что бога гневить, батюшка! Всё у нас есть, слава богу, и чихирю нажали, и насолтили, и продадим бочки три виноград, и пить останется. Ты уходить-то погоди. Гулять с тобой будем на свадьбе.

— А когда свадьба? — спросил Оленин, чувствуя, как вся кровь вдруг хлынула ему к лицу и сердце неровно и мучительно забилось.

За печью зашевелилось, и послышалось щёлканье семечка.

— Да что, надо бы на той неделе сыграть. Мы готовы, — отвечала старуха просто, спокойно, как будто Оленина не было и нет на свете. — Я всё для Марьянушки собрала и припасла. Мы хорошо отдадим. Да вот немного не ладно. Лукашка-то наш что-то уж загулял очень. Вовсе загулял! Шалит! Намедни приезжал казак из сотни, сказывал, он в Ногаи ездил.

— Как бы не попался, — сказал Оленин.

— И я говорю: ты, Лукашка, не шали! Ну, молодой человек, известно, куражится. Да ведь на всё время есть. Ну, отбил, украл, абрека убил, молодец! Ну и смиренно бы пожил. А то уж вообще скверно.

— Да, я его раза два видел в отряде, он всё гуляет. Ещё лошадь продал, — сказал Оленин и оглянулся на печь.

Большие чёрные глаза блестели на него строго и недружелюбно. Ему стало совестно за то, что он сказал.

— Что ж! Он никому худа не делает, — вдруг сказала Марьяна. — На свои деньги гуляет, — и, спустив ноги, она соскочила с печи и вышла, сильно хлопнув дверью.

Оленин следил за ней глазами, куда она была в хате, потом смотрел на дверь, ждал и не понимал ничего, что ему говорила бабушка Улита. Через несколько минут вошли гости: старик, брат бабушки Улиты, с дядей Ерощкой, и вслед за ними Марьяна с Устенкой.

— Здорово днём-то? — пропущала Устенка. — Всё гуляешь? — обратилась Устенка к Оленину.

— Да, гуляю, — отвечал он, и ему отчего-то стыдно стало и неловко.

Он хотѣлъ уйтѣ и не мог. Молчать ему тоже казало́сь невозможнó. Старик помо́г ему: он попроси́л выпить, и они́ выпили. Потóм Олени́н выпил с Ерóшкой. Потóм ещё с други́м каза́ком. Потóм ещё с Ерóшкой. И чем бо́льше пил Олени́н, тем тяжеле́ становило́сь ему́ на се́рдце. Но старики́ разгуля́лись. Девки́ обе́ засели́ на пѣчку и шушúкали, глядя́ на них, а они́ пи́ли до вѣчера. Олени́н ничегó не говори́л и пил бо́льше всех. Каза́ки что́-то крича́ли. Старуха́ выгоня́ла их вон и не дава́ла бо́льше чихиря́. Девки́ смея́лись над дя́дей Ерóшкой, и уж́ было́ часóв де́сять, когда́ все́ вышли́ на крыльцо́. Старики́ са́ми называ́лись иди́ти догу́ливать ночь́ у Олени́на. Устенка́ побежа́ла домо́й. Ерóшка повёл каза́ка к Ваню́ше. Старуха́ пошла́ прибира́ть в *избу́шке*. Марья́на остава́лась одна́ в ха́те. Олени́н чу́вствовал себя́ све́жим и бо́дрым, как бу́дто он сейча́с про́снулся. Он всё замеча́л и, пропу́тив вперѣд стари́ков, верну́лся в ха́ту. Марья́на уклады́валась спать. Он подоше́л к ней, хотѣл ей сказа́ть что́-то, но го́лос оборва́лся у него́. Она́ села́ на постѣль, подобрала́ под себя́ но́ги, отодви́нулась от него́ в са́мый у́гол и мо́лча, испуганнóм; ди́ким взгля́дом смотре́ла на него́. Она́, ви́димо, боя́лась его́. Олени́н чу́вствовал это́. Ему́ ста́ло жа́лко и со́вестно за себя́, и вме́сте с тем он почувство́вал го́рдое удово́льствие, что возбужда́ет в ней хоть это́ чу́ство.

— Марья́на! — сказа́л он. — Неужели́ ты никогда́ не сжа́лишься надо́ мной? Я не зна́ю, как я люблю́ тебя́.

Она́ отодви́нулась ещё́ да́льше.

— Вишь, вино́-то что́ говори́т! Ничегó тебѣ́ не бу́дет!

— Нет, не вино́. Не выходи́ за Лука́шку. Я жени́юсь на тебѣ́. — «Что́ же это́ я говори́ю? — подумал он в то са́мое вре́мя, как выговáривал эти́ слова́. — Скажу́ ли я то́ же за́втра? Скажу́, наве́рно скажу́ и тепе́рь повто́рю», — отве́тил ему́ вну́тренний го́лос.

— Пойде́шь за меня́?

Она́ серьёзно посмотре́ла на него́, и испуг её́ как бу́дто прошёл.

— Марья́на! я с ума́ сойду́. Я не свой. Что́ ты вели́шь, то и сде́лаю. — И безумно-нежные́ слова́ говори́лись са́ми собо́й.

— Ну, что́ брѣшешь, — прервала́ она́ его́, вдруг схвати́в за́

руку, которую он протягивал к ней. Но она не отталкивала его руки, а крепко сжала её своими сильными, жёсткими пальцами. — Разве господá на мамúках жéнятся? Иди!

— Да пойдёшь ли? Я всё...

— А Лукáшку куда дéнем? — сказала она, смеясь.

Он вырвал у неё руку, которую она держала, и сильно обнял её молодое тело. Но она как лань вскочила, спрыгнула босыми ногами и выбежала на крыльцо. Оленин опомнился и ужаснулся на себя. Он опять показáлся сам себе невыразимо гáдок в сравнении с нею. Но ни минуты не рассказываясь в том, что он сказал, он пошёл домой и, не взглянув на пивших у него стариков, лёг и заснул таким крепким сном, каким давно не спал.

XXXV

На другой день был праздник. Вечером весь народ, блестя на заходящем солнце праздничным нарядом, был на улице. Вина было нажато больше обыкновенного. Народ освободился от трудов: Казаки через месяц собирались в поход, и во многих семействах готовились свадьбы.

На площади, перед станичным правлением и около двух лавочек, — одной с закусками и семечками, другой с платками и ситцами, — больше всего стояло народа. На завалинке дома правления сидели и стояли старики в серых и чёрных степенных зипунах, без галунów и украшений. Старики спокойно, мерными голосами беседовали между собой об урожаях и молодых ребятах, об общественных делах и о старине, величаво и равнодушно поглядывая на молодое поколение. Проходя мимо них, бабы и девки приостанавливались и опускали головы. Молодые казаки почтительно уменьшали шаг и, снимая папахи, держали их некоторое время перед головою. Старики замолкали. Кто строго, кто ласково, осматривали они проходящих и медленно снимали и снова надевали папахи.

Казачки ещё не начинали водить хороводы, а, собравшись кружками в яркоцветных бешметах и белых платках, обвязывающих голову и глаза, сидели на земле и завалинках хат, в тени от косых лучей солнца, и звонко болтали и смеялись.

Мальчишки и девочки играли в лапту, зажигая мяч высоко в ясное небо, и с криком и писком бегали по площади. Девочки-подростки на другом угле площади уже водили хороводы и тоненькими, несмелыми голосами пищали песню. Писаря, льготные и вернувшиеся на праздник молодые ребята в нарядных белых и новых красных черкесках, обшитых галунгами, с праздничными, веселыми лицами, по двое, по трое, взявшись рука с рукой, ходили от одного кружка баб и девочек к другому и, останавливаясь, шутили и заигрывали с казачками. Армянин-лавочник в синей черкеске тонкого сукна с галунгами стоял у отворенной двери, в которую виднелись ярусы свернутых цветных платков, и с гордостью восточного торговца и сознанием своей важности ожидал покупателей. Два краснобородые босые чеченца, пришедшие из-за Терека полюбоваться на праздник, сидели на корточках у дома своего знакомого и, небрежно покуривая из маленьких трубочек и поплёвывая, перекидывались, глядя на народ, быстрыми гортанными звуками. Изредка непраздничный солдат в старой шинели торопливо проходил между пестрыми группами по площади. Кое-где уже слышались пьяные песни загулявших казаков. Все хаты были закрыты, крылечки с вечера вымыты. Даже старухи были на улице. По сухим улицам везде, в пыли, под ногами, валялась шелуха арбузных и тыквенных семечек. В воздухе было тепло и неподвижно, в ясном небе голубо и прозрачно. Бело-матовый хребет гор, видневшийся из-за крыш, казался близок и розовел в лучах заходящего солнца. Изредка с заречной стороны доносился дальний гул пушечного выстрела. Но над станцией, сливаясь, носились разнообразные веселые, праздничные звуки.

Оленин всё утро ходил по двору, ожидая увидеть Марьяну. Но она, убравшись, пошла к обеду в часовню; потом то сидела на завалине с девочками, щёлкая семя, то с товарками же забегала домой и весело, ласково взглядывала на постояльца. Оленин боялся заговаривать с ней шуточно и при других. Он хотел договорить ей вчерашнее и добиться от неё решительного ответа. Он ждал опять такой же минуты, как вчера вечером; но минута не приходила, а оставаться в таком нерешительном положении он не чувствовал в себе более силы. Она вышла опять

на улицу, и немного погодя, сам не зная куда, пошёл и он за нею. Он миновал угол, где она сидела, блестя своим атласным голубым бешметом, и с болью в сердце услышал за собою девичий хохот.

Хата Белёцкого была на площади. Оленин, проходя мимо её, услышал голос Белёцкого: «Заходите»,— и зашёл.

Поговорив, они оба сели к окну. Скоро к ним присоединился Ерощка в новом бешмете и уселся подле них на пол.

— Вот это аристократическая кучка,— говорил Белёцкий, указывая папироской на пёструю группу на углу и улыбаясь.— И моя там, видите, в красном. Это обновка. Что же хороводы не начинаются? — прокричал Белёцкий, выглядывая из окна.— Вот погодите, как смеркнется, и мы пойдём. Потом позовём их к Устенке; надо им бал задать.

— И я приду к Устенке,— сказал Оленин решительно.— Марьяна будет?

— Будет, приходите! — сказал Белёцкий, несколько не удивляясь.— А ведь очень красиво,— прибавил он, указывая на пёстрые толпы.

— Да, очень! — поддалкнул Оленин, стараясь казаться равнодушным.— На таких праздниках,— прибавил он,— меня всегда удивляет, отчего так, вследствие того, что нынче, например, пятнадцатое число, вдруг все люди стали довольны и веселы? На всём виден праздник. И глаза, и лица, и голоса, и движения, и одежда, и воздух, и солнце,— всё праздничное. А у нас уже нет праздников.

— Да,— сказал Белёцкий, не любивший таких рассуждений.— А ты что не пьешь, старик? — обратился он к Ерощке.

Ерощка мигнул Оленину на Белёцкого:

— Да что, он гордый, кунак-то твой!

Белёцкий поднял стакан.

— *Алла бирды*,— сказал он и выпил. (*Алла бирды*, значит: бог дал; это обыкновенное приветствие, употребляемое кавказцами, когда пьют вместе.)

— *Сау бул* (будь здоров),— сказал Ерощка, улыбаясь, и выпил свой стакан.

— Ты говоришь: праздник! — сказал он Оленину, поднимаясь и глядя в окно.— Это что за праздник! Ты бы посмотрел,

как в старину гуляли. Бабы выйдут, бывало, оденутся в сарафаны, галунами обшиты. Грудь всю золотыми в два ряда обвешают. На голове кокошники золотые носили. Как пройдет, так фр! фр! шум подымется. Каждая баба, как княгиня была. Бывало, выйдут, табун целый, заиграют песни, так стон стоит; всю ночь гуляют. А казаки бочки выкатят на двор, засядут, всю ночь до рассвета пьют. А то схватятся рука с рукой, пойдут по станице лавой. Кого встретят, с собой забирают, да от одного к другому и ходят. Другой раз три дня гуляют. Батюшка, бывало, придет, еще, я помню, красный, распухнет весь, без шапки, все растеряет, придет и ляжет. Матушка уж знает, бывало: свежей икры и чихирю ему принесет опохмелиться, а сама бежит по станице шапку его искать. Так двое суток спит! Вот какие люди были! А нынче что?

— Ну, а девки-то в сарафанах как же? Одни гуляли? — спросил Белецкий.

— Да, одни! Придут, бывало, казаки, или верхом сядут, скажут: пойдём хороводы разбивать, и поедут, а девки дубье возьмут. На масленице, бывало, как разлетится какой молодец, а они бьют, лошадь бьют, его бьют. Прорвет стену, подхватит какую любит и увезет. Матушка, душенька, уж как хочет любит. Да и девки ж были! Королевы!

XXXVI

В это время из боковой улицы выехали на площадь два всадника. Один из них был Назарка, другой Лукашка. Лукашка сидел несколько боком на своём сытом гнедом кабардинце, легко ступавшем по жесткой дороге и подкидывавшем красивой головой с глянцевиною тонкою холкой. Ловко прилаженное ружье в чехле, пистолет за спиной и свернутая за седлом бурка доказывали, что Лукашка ехал не из мирного и ближнего места. В его боковой щегольской посадке, в небрежном движении руки, похлопывавшей чуть слышно плетью под брюхо лошади, и особенно в его блестящих черных глазах, смотревших, гордо прищуриваясь, вокруг, выражались сознание силы и самонадеянность молодости. Видали молодца? — казалось, говорили его глаза, поглядывая по сторонам. Стат-

ная лошадь, с серебряным набором сбруя и оружие и сам красивый казак обратили на себя внимание всего народа, бывшего на площади. Назарка, худощавый и малорослый, был одет гораздо хуже Лукашки. Проезжая мимо стариков, Лукашка приостановился и приподнял белую курчавую папаху над стриженной черною головой.

— Что, много ль ногайских коней угнал? — сказал худенький старичок с нахмуренным, мрачным взглядом.

— А ты небось считал, дедука, что спрашиваешь, — отвечал Лукашка, отворачиваясь.

— То-то парня-то с собой напрасно водишь, — проговорил старик ещё мрачнее.

— Вишь, черт, всё знает! — проговорил про себя Лукашка, и лицо его приняло озабоченное выражение; но, взглянув на угол, где стояло много казачек, он повернул к ним лошадь.

— Здорово днём-то, девки! — крикнул он сильным, залившимся голосом, вдруг останавливая лошадь. — Состарились без меня, ведьмы. — И он засмеялся.

— Здорово, Лукашка! здорово, батяка! — слышались веселые голоса. — Денег много привёз? Закусок купи девкам-то! Надолго приехал? И то давно не видали.

— С Назаркой на ночьку погулять прилетели, — отвечал Лукашка, заманиваясь плетью на лошадь и наезжая на девок.

— И то Марьянка уж забыла тебя совсем, — пропищала Устенка, толкая локтем Марьяну и заливаясь тонким смехом.

Марьяна отодвинулась от лошади и, закинув назад голову, блестящими большими глазами спокойно взглянула на казака.

— И то давно не бывал! Что лошадью топчешь-то? — сказала она сухо и отвернулась.

Лукашка казался особенно весел. Лицо его сияло удастью и радостью. Холодный ответ Марьяны, видимо, поразил его. Он вдруг нахмурил брови.

— Становись в стремя, в горы увезу, мамочка! — вдруг крикнул он, как бы разгоняя дурные мысли и джигитую между девок. Он нагнулся к Марьяне. — Поцелую, уж так поцелую, что ну!

Марьяна встрѣтилась с ним глазами и вдруг покраснѣла. Она отступила.

— Ну тебя совсѣм! Ноги отдавишь,— сказала она и, опустив голову, посмотрѣла на свои стройные ноги, обтянутые голубыми чулками со стрѣлками, в красных новых чувяках, обшитых узеньким серебряным галуном.

Лукашка обратился к Устенке, а Марьяна села рядом с казачкой, державшею на руках ребёнка. Ребёнок потянулся к дѣвке и пухленькою ручонкой ухватился за нитку монистов, висѣвших на её синем бешмете. Марьяна нагнулась к нему и искоса поглядѣла на Лукашку. Лукашка в это время доставал из-под черкѣски, из кармана чѣрного бешмета, узелок с закусками и семечками.

— На всех жѣртвую,— сказал он, передавая узелок Устенке, и с улыбкою глянул на Марьянку.

Снова замешательство выразилось на лицѣ дѣвки. Прекрасные глаза подернулись как туманом. Она спустила платок ниже губ и, вдруг припав головой к бѣлому личику ребёнка, державшего её за монисто, начала жадно целовать его. Ребёнок упирался ручонками в высокую грудь дѣвки и кричал, открывая беззубый ротик.

— Что душишь парнишку-то? — сказала мать ребёнка, отнимая его у ней и расстѣгивая бешмет, чтобы дать ему груди.— Лучше бы с парнем здоровкалась.

— Только коня уберу, придѣм с Назаркой, целую ночь гулять будем,— сказал Лукашка, хлопнув плетью лошадь, и поѣхал прочь от дѣвок.

Свернув в боковую улицу с Назаркой вмѣсте, они подъѣхали к двум стоявшим рядом хатам.

— Дорвались, брат! Скорѣй приходи! — крикнул Лукашка товарищу, слезая у сосѣднего двора и осторожно проводя коня в плетѣные ворота своего двора.— Здорово, Стѣпка! — обратился он к ней, которая, тоже празднично разряженная, шла с улицы, чтобы принять коня. И он знаками показав ей, чтоб она поставила коня к сѣну и не рассѣдывала его.

Немая загудѣла, зачмокала, указывая на коня, и поцеловала его в нос. Это значило, что она любит коня и что конь хорош.

— Здорóво, мáтушка! Что, аль на ўлицу ещё не выходи́ла? — прокрича́л Лука́шка, подде́рживая ружьё и поднимáясь на крыльцо́.

Стару́ха мать отвори́ла ему́ дверь.

— Вот не ждала́, не гада́ла,— сказа́ла стару́ха.— А Ки́рка ска́зывал, ты не бу́дешь.

— Принеси́ чихирьку́, поди́, мáтушка. Ко мне Назáрка приде́т, *праздник помо́лим*.

— Сейча́с, Лука́ша, сейча́с,— отвеча́ла стару́ха.— Ба́бы-то на́ши гуля́ют. Я чай, и на́ша нема́я ушла́.

И, захвати́в ключи́, она́ торопли́во пошла́ в *избу́шку*.

Наза́рка, убра́в своего́ коня́ и сняв ружьё, воше́л к Лука́шке.

XXXVII

— Будь здоро́в,— говори́л Лука́шка, принимáя от ма́тери по́лную ча́шку чихиря́ и осторо́жно подно́ся её к нагну́той голо́ве.

— Вишь, де́л-то,— сказа́л Назáрка: — деду́ка Бурла́к что сказа́л: «много́ ли коней́ укра́л?» Ви́дно, зна́ет.

— Колду́н! — ко́ротно отве́тил Лука́шка.— Да это́ что? — приба́вил он, встряхну́в голо́вой.— Уж они́ за реко́й. Ищи́.

— Все́ нела́дно.

— А что нела́дно! Снеси́ чихирю́ ему́ за́втра. Та́к-то де́лать на́до, и ниче́го бу́дет. Тепе́рь гуля́ть. Пей! — крикну́л Лука́шка тем са́мым го́лосом, каки́м стари́к Еро́шка произноси́л это́ сло́во.— На ўлицу гуля́ть пойдём, к де́вкам. Ты сходи́, ме́ду возьми́, или я немую́ пошлю́. До утра́ гуля́ть бу́дем.

Наза́рка улыба́лся.

— Что ж, до́лго побу́дем? — сказа́л он.

— Дай погуля́ем! Беги́ за во́дкой! На́ де́ньги!

Наза́рка послу́шно побежа́л к Ямке.

Дядя́ Еро́шка и Ергушо́в, как хи́щные пти́цы, проно́хав, где гуля́нье, о́ба пья́ные, оди́н за други́м ввали́лись в ха́ту.

— Давáй ещё́ полве́дра! — крикну́л Лука́шка ма́тери в отве́т на их здоро́вканье.



— Ну, скáзывай, чѣрт, где укрáл? — прокричáл дядя Ерóшка.— Молодѣц! Люблю!

— Тó-то люблю! — отвечáл смеясь Лукáшка.— Дѣвкам за кúски от юнкирѣй нóсишь. Эх, стáрый!

— Непрáвда, вот и непрáвда! Эх, Мáрка! — Старíк расхотáлся.— Уж как просíл меня чѣрт энтот! Подí, говорíт, похлопочí. Флíнту давáл. Нет, бог с ним! Я бы обдѣлал, да тебя жалѣю. Ну, скáзывай, где был.— И старíк заговорíл потатáрски.

Лукáшка бóйко отвечáл ему́. Ергушо́в, плóхо знáвший по-татáрски, лишь́ изредка́ вставля́л ру́ские слова́.

— Я говорю́, коней́ угна́л. Я твёрдо́ знаю́,— поддáкивал он.

— Поéхали мы с Гирейко́й,— рассказывал Лукáшка. (Что он Гирей-хана́ назывáл Гирейко́й, в том б́ыло замéтное для казáков молодéчество.) — За реко́й всё храбр́ился, что он всю степь́ знаéт, прýмо приведёт, а выéхали, ночь тёмная, спýтался мой Гирейка́, стал елóзить, а всё то́лку нет. Не найдёт а́ула, да и шабáш. Правей́ мы, видно́, взяли́. Почита́й до полúночи иска́ли. Уж спаси́бо, соба́ки завы́ли.

— Дураки́,— сказа́л дядя́ Еро́шка.— Та́к-то мы, бывáло, спýтаемся но́чью в степи́. Чёрт их разберёт! Вы́еду, бывáло, на бугóр, завóю по-бирю́чиному, вот та́к-то! (Он сложи́л ру́ки у рта и завы́л, б́удто ста́до волко́в, в одну́ но́ту.) Как раз соба́ки откликну́тся. Ну, доказы́вай. Ну что ж, нашли́?

— Ж́иво оброта́ли. Назáрку б́ыло пойма́ли нога́йки-ба́бы, пра!

— Да, пойма́ли,— оби́женно сказа́л верну́вшийся Назáрка.

— Выéхали, о́пять Гирейка́ спýтался, во́все б́ыло завёл в буруны́. Так вот всё ка́жет, что к Тéreку, а во́все прочь́ едем.

— А ты по звёздам бы́ смотре́л,— сказа́л дядя́ Еро́шка.

— И я говорю́,— подхватил Ергушо́в.

— Да, смотре́й тут, как темно́ всё. Уж я б́ился, б́ился! Пойма́л кобы́лу одну́, оброта́л, а своего́ коня́ пусти́л; дýмаю, вы́ведет. Так что же ты дýмаешь? Как фýркнет, фýркнет, да носом по́ земи... Вы́скакал вперёд, так прýмо в станицу́ и вы́вел. И то спаси́бо уж светлó во́все ста́ло; то́лько успели́ в лесу́ коней́ схорони́ть. Наги́м из-за ре́ки приéхал, взял.

Ергушо́в покача́л головой́.

— Я и говорю́: лóвко! А мно́го ль?

— Все тут,— сказа́л Лукáшка, хло́пая по карма́ну.

Стару́ха в это́ время вошла́ в изб́у. Лукáшка не договорил.

— Пей! — прокрича́л он.

— Та́к-то мы с Ги́рчиком раз по́здно поéхали... — нача́л Еро́шка.

— Ну, тебя́ не переслу́шаешь,— сказа́л Лукáшка.— А я пойду́.— И, допи́в вино́ из чапу́рки и затяну́в ту́же реме́нь поя́са, Лукáшка вы́шел на у́лицу...

Уж было темно, когда Лукашка вышел на улицу. Осенняя ночь была свежая и безветрена. Полный золотой месяц выплывал из-за черных раин, поднимающихся на одной стороне площади. Из труб *избушек* шёл дым и, сливаясь с туманом, стлался над станицею. В окнах кое-где светились огни. Запах кизяка, чапры и тумана был разлит в воздухе. Говор, смех, песни и щёлканье семечек звучали так же смешанно, но отчетливее, чем днём. Белые платки и папахи кучками виднелись в темноте около заборов и домов.

На площади, против отворенной и освещённой двери лавки, чернеется и белёется толпа казаков и девок и слышатся громкие песни, смех и говор. Схватившись рука с рукой, девки кружатся, плавно выступая на пыльной площади. Худошавая и самая некрасивая из девок запевает:

Из-за лесуку, лесу тёмного,
 Ай-да-люли!
 Из-за садика, саду зелёного
 Вот и шли-прошли два мбодца,
 Два мбодца, да оба холосты.
 Онй шли-прошли, да становилися,
 Онй становилися, разбранилися.
 Выходила к ним красна девица,
 Выходила к ним, говорила им:
 Вот кому-нибудь из вас достануся.
 Доставалася да парню белому,
 Парню белому, белокурому.
 Он бере, берёт за праву руку,
 Он веде, ведёт да вдоль по кругу.
 Всем товарищам порасхвастался:
 «Какова, братцы, хозяйюшка!»

Старухи стоят около, прислушиваясь к песням. Мальчишки и девчонки бегают кругом в темноте, догоняя друг друга. Казаки стоят кругом, затрагивая проходящих девок, изредка разрывая хоровод и входя в него. По тёмную сторону двери стоят Белёцкий и Оленин в черкёсках и папахах и не казачьим говором, не громко, но слышно разговаривают между собой, чувствуя, что обращают на себя внимание. Рядом в хо-

роводе хóдят толстенькая Устенька в красном бешмёте и величавая фигура Марьяны в но́вой рубáхе и бешмёте. Оленин с Белёцким разговáривали о том, как бы им отбítь от хоровóда Марьянку с Устенькой. Белёцкий думал, что Оленин хотёл только повеселиться, а Оленин ждал решения своёй участи. Он во что бы то ни ста́ло хотёл ны́нче же видеть Марьяну одну, сказа́ть ей всё и спроси́ть её, мо́жет ли и хóчет ли она́ быть его́ жено́ю. Несмотря́ на то, что вопро́с э́тот да́вно́ был решён для него́ отрица́тельно, он надéялся, что бу́дет в си́лах рассказа́ть ей всё, что чу́вствует, и что она́ поймёт его́.

— Что вы мне ра́ньше не сказа́ли,— говори́л Белёцкий,— я бы вам устрои́л че́рез Устеньку. Вы тако́й стра́нный!

— Что де́лать? Когда́-нибудь, о́чень ско́ро, я вам всё скажу́. Тепе́рь то́лько, ра́ди бо́га, устрои́те, чтоб она́ пришла́ к Устеньке.

— Хорошо́. Это легко́.. Что же, ты па́рню бе́лому доста́нешься, Марья́нка, а? а не Лука́шке? — сказа́л Белёцкий, для при́личия обраща́ясь сна́чала к Марья́нке; и, не дожда́вшись отве́та, он подошёл к Устеньке и на́чал проси́ть её привести́ с собо́й Марья́нку. Не успе́л он догово́рить, как запева́ло заигра́ла друго́ю пе́сню, и де́вки потяну́ли друг дру́жку.

Они́ пе́ли:

Как за са́дом, за са́дом
Ходи́л, гуля́л молодёц
Вдо́ль у́лицы в ко́нec.
Он во пе́рвый раз иде́,
Ма́шет пра́вою руко́й,
Во друго́й он раз иде́,
Ма́шет шля́пой пухо́вой,
А во тре́тий раз иде́,
Останáвливаются,
Останáвливаются, перепра́вливаются,
«Я хоте́л к тебе́ пойти́,
Тебе́ ми́лой попе́нять:
Отче́го же, моя́ ми́лая,
Ты нейдёшь во сад гуля́ть?
Али ты, моя́ ми́лая,
Мно́ю чва́нишься?
Опосля́, моя́ ми́лая,
Успоко́бишься.
Зашлю́ сва́тать,

Буду свѣтать,
Беру замуж за себя,
Будешь плакать от меня». —
Уж я знала, что сказать,
И не смела отвечать.
Я не смела отвечать,
Выходила в сад гулять.
Прихожу я в зелёный сад,
Дружку кланялась.
«А я, девица, поклон,
И платочек из рук вон.
Изволь, милая, принять,
Во белые руки взять.
Во белые руки бери,
Меня, девица, люби.
Я не знаю, как мне быть,
Чем мне милую дарить,
Подарю своей милой
Большой шалевою платок.
Я за этот за платок
Поцелую раз пять».

Лукáшка с Назáркою, разорвáв хоробóд, пошли ходить между дéвками. Лукáшка подтягивал рёзким подголóском и, размáхивая рука́ми, ходил посередине хоробóда. «Что же, выходи кака́я!» — проговорил он. Дéвки толкали Марья́нку: она́ не хотела вѣйти. Из-за пёсни слышались тонкий смех, удáры, поцелу́и, шёпот.

Проходя́ мимо Олени́на, Лукáшка ласково кивну́л ему́ головóй.

— Митрий Андрéич! И ты пришёл посмотре́ть? — сказа́л он.

— Да, — решительно и сýхо отвеча́л Олени́н.

Белёцкий наклонился на́ ухо Устенке и сказа́л ей что́-то. Она́ хотела отве́тить, но не успела́ и, проходя́ во второ́й раз, сказа́ла:

— Хорошó, придём.

— И Марья́на то́же?

Олени́н нагну́лся к Марья́не.

— Придёшь? Пожа́луйста, хоть на мину́ту. Мне ну́жно погово́рить с тобо́й.

— Дéвки придут, и я придú.

— Ска́жешь мне, что я проси́л? — спроси́л он о́пять, наги́баясь к ней. — Ты ны́нче весела́.

Она́ уж уходила́ от него́. Он поше́л за ней.

— Ска́жешь?

— Чего́ сказа́ть?

— Что я тре́тьего дня спра́шивал, — сказа́л Оле́нин, наги́баясь к её у́ху. — Пойдёшь за меня́?

Марья́на подумала.

— Скажу́, — отве́тила она́, — ны́нче скажу́.

И в темноте́ глаза́ её ве́село и ла́сково блесну́ли на молодого́ челове́ка. Он всё шёл за ней. Ему́ ра́достно бы́ло наклониться́ к ней побли́же.

Но Лука́шка, продолжа́я петь, дёрнул её си́льно за́ руку и вы́рвал из хорово́да на середину́. Оле́нин, успе́в то́лько проговори́ть: «Приходи́ же к Устенъке», — отоше́л к своему́ товарищу́. Песня́ ко́нчилась. Лука́шка обтёр гу́бы, Марья́нка то́же, и они́ поцелова́лись. «Нет, раз пято́к», — говори́л Лука́шка. Говор, смех, беготня́ замени́ли пла́вное движе́ние и пла́вные зву́ки. Лука́шка, кото́рый каза́лся уже́ си́льно выпивши, стал оде́лять де́вок заку́сками.

— На всех же́ртвую, — говори́л он с го́рдым коми́чески-тро́гательным самодово́льством. — А кто к солда́там гуля́ть, выходи́ из хорово́да вон, — прибави́л он вдруг, зло́бно глянув на Оле́нина.

Де́вки хвата́ли у него́ заку́ски и, смея́сь, отбива́ли друг у дру́га. Белёцкий и Оле́нин отошли́ к сторонé.

Лука́шка, как бы стыдя́сь своéй ще́дрости, сняв папа́ху и отира́я лоб рукаво́м, подоше́л к Марья́нке и Устенъке.

— *Али ты, моя́ ми́лая, мно́ю чва́нишься?* — повтори́л он слова́ песни, кото́рую то́лько что пели, и, обраща́ясь к Марья́нке: — *мно́ю чва́нишься?* — ещё́ повтори́л он сердито́. — *Пойдёшь за́муж, бу́дешь пла́кать от меня́,* — прибави́л он, обнима́я вме́сте Устенъку и Марья́ну.

Устенъка вы́рвалась и, размахну́вшись, уда́рила его́ по спине́ так, что ру́ку себе́ ушибла.

— Что ж, ста́нете ещё́ води́ть? — спроси́л он.

— Как де́вки хотя́т, — отве́чала Устенъка, — а я домо́й пойду́, и Марья́нка хоте́ла к нам прийтí.

Казák, продолжая обнимать Марьяну, отвёл её от толпы к тёмному углу дома.

— Не ходи, Машенька,— сказал он,— последний раз погуляем. Иди домой, я к тебе приду.

— Чего мне дома делать? На то праздник, чтоб гулять. К Устенке пойду,— сказала Марьяна.

— Ведь всё равно женюсь.

— Ладно,— сказала Марьяна,— там видно будет.

— Что ж, пойдёшь? — строго сказал Лукашка и, прижав её к себе, поцеловал в щёку.

— Ну, брось! Что пристал? — И Марьяна, вырвавшись, отошла от него.

— Эх, девка!.. Худо будет,— укоризненно сказал Лукашка, остановившись и качая головой.— *Будешь плакать от меня*,— и, отвернувшись от неё, крикнул на девок: — играй, что ль!

Марьяну как будто испугало и рассердило то, что он сказал. Она остановилась.

— Что худо будет?

— А то.

— А что?

— А то, что с постояльцем-солдатом гуляешь, зато и меня разлюбила.

— Захотела, разлюбила. Ты мне не отец, не мать. Чего хочешь? Кого захочу, того и люблю.

— Так, так! — сказал Лукашка.— Помни ж! — Он подошёл к лавке.— Девки! — крикнул он,— что стали? Ещё хорова́д играйте. Назарка! беги, чихиря неси.

— Что ж, придут они? — спрашивал Оленин у Белёцкого.

— Сейчас придут,— отвечал Белёцкий.— Пойдёмте, надо приготовить бал.

XXXIX

Уж поздно ночью Оленин вышел из хаты Белёцкого вслед за Марьяной и Устенкой. Белый платок девки белелся в тёмной улице. Месяц, золотясь, спускался к степи. Серебристый туман стоял над станцией. Всё было тихо, огней нигде не бы-

ло, только слышались шаги удалявшихся женщин. Сердце Оленина билось сильно. Разгоревшееся лицо освежалось на сыром воздухе. Он взглянул на небо, оглянулся на хату, из которой вышел: в ней потухла свеча, и он снова стал всматриваться в удалявшуюся тень женщины. Белый платок скрылся в тумане. Ему было страшно оставаться одному. Он так был счастлив! Он соскочил с крыльца и побежал за девушками.

— Ну тебя! Увидит кто! — сказала Устенка.

— Ничего!

Оленин подбежал к Марьяне и обнял её.

Марьянка не отбивалась.

— Не нацеловались, — сказала Устенка. — Женишься, тогда целуй, а теперь погоди.

— Прощай, Марьяна, завтра я приду к твоему отцу, сам скажу. Ты не говори.

— Что мне говорить! — отвечала Марьяна.

Обе девушки побежали. Оленин пошёл один, вспоминая всё, что было. Он целый вечер провёл с ней вдвоём в углу, около печки. Устенка ни на минуту не выходила из хаты и возилась с другими девушками и Белёцким. Оленин шёпотом говорил с Марьянкой.

— Пойдёшь за меня? — спрашивал он её.

— Обманешь, не возьмёшь, — отвечала она весело и спокойно.

— А любишь ли ты меня? Скажи ради бога?

— Отчего же тебя не любить, ты не кривой! — отвечала Марьяна, смеясь и сжимая в своих жестких руках его руки. — Какие у тебя руки бее-лые, бее-лые, мягкие, как каймак, — сказала она.

— Я не шучу. Ты скажи, пойдёшь ли?

— Отчего же не пойти, коли батюшка отдаст.

— Помни ж, я с умом сойду, ежели ты меня обманешь. Завтра я скажу твоей матери и отцу, сватать приду.

Марьяна вдруг расхохоталась.

— Что ты?

— Так, смешно.

— Верно! Я куплю сад, дом, запишусь в казаки...

— Смотри, тогда других баб не люби! Я на это сердитая.

Оленин с наслаждением повторял в воображении все эти слова. При этих воспоминаниях то становилось ему больно, то дух захватывало от счастья. Больно ему было потому, что она всё так же была спокойна, говоря с ним, как и всегда. Её несколько, казалось, не волновало это новое положение. Она как будто не верила ему и не думала о будущем. Ему казалось, что она его любила только в минуту настоящего и что будущего для неё не было с ним. Счастлив же он был потому, что все её слова казались ему правдой и она соглашалась принадлежать ему... «Да,— говорил он сам себе,— только тогда мы поймём друг друга, когда она вся будет моею. Для такой любви нет слов, а нужна жизнь, целая жизнь. Завтра всё объяснится. Я не могу так жить больше, завтра я всё скажу её отцу, Белёцкому, всей станции...»

Лукашка после двух бессонных ночей так много выпил на празднике, что свалился в первый раз с ног и спал у Ямки.

XI

На другой день Оленин проснулся раньше обыкновенного, и в первое мгновение пробуждения ему пришла мысль о том, что предстоит ему, и он с радостью вспомнил её поцелуи, пожатие жёстких рук и её слова: «Какие у тебя руки белые!» Он вскочил и хотел тотчас же идти к хозяйевам и просить руки Марьяны. Солнце ещё не вставало, и Оленину показалось, что на улице было необыкновенное волнение: ходили, верхом ездили и говорили. Он накинул на себя черкёску и выскочил на крыльцо. Хозяйева ещё не вставали. Пять человек казаков ехали верхом и о чём-то шумно разговаривали. Впереди всех, на своём широком кабардинце, ехал Лукашка. Казаки все говорили, кричали: ничего хорошенько разобрать было нельзя.

— К верхнему посту выезжай! — кричал один.

— Седлай и догоняй живёе, — говорил другой.

— С тех ворот ближе выезжать.

— Толкуй тут, — кричал Лукашка, — в средние ворота ехать надо...

— И то, оттуда ближе,— говорил один из казаков, запыханный и на потной лошади. Лицо у Лукашки было красное, опухшее от вчерашней попойки: папаша была сдвинута на затылок. Он кричал повелительно, будто был начальник.

— Что такое? Куда? — спросил Оленин, с трудом обращая на себя внимание казаков.

— Абреков ловить едем, засели в бурунах. Сейчас едем, да всё народу мало.

И казаки, продолжая кричать и собираться, проехали дальше по улице. Оленину пришло в голову, что нехорошо будет, если он не поедет; притом он думал рано вернуться. Он оделся, зарядил пулями ружье, вскочил на кое-как оседланную Ванюшей лошадь и догнал казаков на выезде из станции. Казаки, спешившись, стояли кружком и, наливая чихирю из привезенного бочонка в деревянную чашу, подносили друг другу и молили свою поездку. Между ними был и молодой фронт хорунжий, случайно находившийся в станции и принявший начальство над собравшимися девятью казаками. Собравшиеся казаки все были рядовые и, хотя хорунжий принимал начальнический вид, все слушались только Лукашку. На Оленина казаки не обращали никакого внимания. И когда все сели на лошадей и поехали и Оленин подъехал к хорунжему и стал расспрашивать, в чем дело, то хорунжий, обыкновенно ласковый, относился к нему с высоты своего величия. Насилу, насилу Оленин мог добиться от него, в чем дело. Обезд, посланный для розыска абреков, застал несколько горцев верст за восемь от станции, в бурунах. Абреки засели в яме, стреляли и грозили, что не отдадутся живыми. Урядник, бывший в объезде с двумя казаками, остался там караулить их и прислал одного казака в станцию звать других на помощь.

Солнце только что начинало подниматься. Верстах в трех от станции со всех сторон открылась степь, и ничего не было видно, кроме однообразной, печальной, сухой равнины, с испещренным следами скотины песком, с поблекшею кое-где травой, с низкими камышами в лощинах, с редкими, чуть проторенными дорожками и с ногайскими кочевьями, далеко-далеко видневшимися на горизонте. Во всем поражало отсутствие тени и суровый тон местности. Солнце всходит и заходит всегда



красно в степи. Когда бывает ветер, то ветер переносит целые горы песка. Когда тихо, как было в это утро, то тишина, не нарушаемая ни движением, ни звуком, особенно поразительна. В это утро в степи было тихо, пасмурно, несмотря на то, что солнце поднялось; было как-то особенно пустынно и мягко. Воздух не шелхнулся; только и слышно было, как ступали лошади и пофыркивали: да и этот звук раздавался слабо и тотчас же замирал.

Казáки ехали большею частью молча. Оружие на казáке всегда приложено так, чтоб оно не звенело и не брэнчало. Брэнчающее оружие — величайший срам для казáка. Два казáка из станицы догна́ли их по доро́ге и перекинулись двумя-тремя слова́ми. Под Лукашкой не то споткну́лась, не то зацепи́лась за траву́ и заторопи́лась лошадь. Это дурная примета́ у казáков. Казáки огляну́лись и торопли́во отверну́лись, стара́ясь не обраща́ть внима́ния на это обстоятельство, имевшее

особенную важность в настоящую минуту. Лукашка вздёрнул поводья, строго нахмурился, стиснул зубы и взмахнул плетью над головой. Добрый кабардинец засеменял всеми ногами вдруг, не зная, на какую ступить, и как бы желая на крыльях подняться кверху; но Лукашка раз огрел его плетью по сытым бокам, огрел другою, третий,— и кабардинец, оскалив зубы и распустив хвост, фыркая, заходил на задних ногах и на несколько шагов отделился от кучки казаков.

— Эх, добра лошадь! — сказал хорунжий.

Что он сказал добра лошадь, а не конь, это означало особенную похвалу коню.

— Лев конь, — подтвердил один из старших казаков.

Казаки молча ехали то шагом, то рысцою, и только одно это обстоятельство прервало на мгновение тишину и торжественность их движения.

По всей степи, вёрст на восемь дороги, они встретили живого только одну ногайскую кибитку, которая, будучи поставлена на арбу, медленно двигалась в версте от них. Это был ногаец, переезжавший с своим семейством с одного кочевья на другое. Ещё встретили они в одной лощине двух оборванных скуластых ногайских женщин, которые с плетущками за спинами собирали в них для кизяка навоз от ходившей по степи скотины. Хорунжий, плохо говоривший по-кумыцки, стал что-то расспрашивать у ногаек; но они не понимали его и, видимо робея, переглядывались между собою.

Подъехал Лукашка, остановил лошадь, бойко произнёс обычное приветствие, и ногайки, видимо, обрадовались и заговорили с ним свободно, как с своим братом.

— Ай, ай, коп абрек! — говорили они жалобно, указывая руками по тому направлению, куда ехали казаки. Оленин понял, что они говорили: «Много абреков».

Никогда не видавший подобных дел, имевший о них понятие только по рассказам дяди Ерочки, Оленин хотел не отставать от казаков и всё видеть. Он любовался на казаков, приглядывался ко всему, прислушивался и делал свои наблюдения. Хотя он и взял с собою шашку и заряженное ружьё, но, заметив, как казаки чуждались его, он решился не принимать никакого участия в деле, тем более, что, по его мнению, храб-

рость его была уже доказана в отряде, а главное потому, что теперь он был очень счастлив.

Вдруг вдальке послышался выстрел.

Хорунжий взволновался и стал делать распоряжения, как казакам разделиться и с какой стороны подъезжать. Но казаки, видимо, не обращали никакого внимания на эти распоряжения, слушали только то, что говорил Лукашка, и смотрели только на него. В лице и фигуре Луки выражалось спокойствие и торжественность. Он вёл проездом своего кабардинца, за которым не поспевали шагом другие лошади, и щурясь всё вглядывался вперёд.

— Вон конный едет,— сказал он, сдерживая лошадь и выравниваясь с другими.

Оленин смотрел во все глаза, но ничего не видел. Казаки скоро различили двух конных и спокойным шагом поехали прямо на них.

— Это абреки? — спросил Оленин.

Казаки ничего не отвечали на вопрос, который был бессмыслицей в их глазах. Абреки были бы дураки, если бы переправились на эту сторону с лошадьми.

— Вон машет батяка Родька, никак,— сказал Лукашка, указывая на двух конных, которые виднелись уже ясно.— Вон к нам поехал.

Действительно, через несколько минут ясно стало, что конные были объездные казаки, и урядник подъехал к Луке.

XLI

— Далече? — только спросил Лукашка.

В это самое время шагах в тридцати послышался короткий и сухой выстрел. Урядник слегка улыбнулся.

— Наш Гурка в них палит,— сказал он, указывая головой по направлению выстрела.

Проехав ещё несколько шагов, они увидели Гурку, сидевшего за песчаным бугром и заряжавшего ружьё. Гурка от скуки перестреливался с абреками, сидевшими за другим песчаным бугром. Пулька просвистела оттуда.

Хорунжий был блѣден и пугался. Лукашка слез с лошади, кинул её казаку и пошёл к Гурке. Оленин, сделав то же самое и согнувшись, пошёл за ним. Только что они подошли к стрелявшему казаку, как две пули просвистели над ними. Лукашка, смеясь, оглянулся на Оленина и пригнулся.

— Ещё застрелят тебя, Андрейч,— сказал он.— Ступай-ка лучше прочь. Тебе тут не дело.

Но Оленину хотелось непременно посмотреть абреков.

Из-за бугра увидал он шагах в двухстах шапки и ружья. Вдруг показался дымок оттуда, свистнула ещё пулька. Абреки сидели под горой в болоте. Оленина поразило место, в котором они сидели. Место было такое же, как и вся степь, но тем, что абреки сидели в этом месте, оно как будто вдруг отделилось от всего остального и ознаменовалось чем-то. Оно ему показалось даже именно тем самым местом, в котором должны были сидеть абреки. Лукашка вернулся к лошади, и Оленин пошёл за ним.

— Надо арбу взять с сеном,— сказал Лука,— а то перебьют. Вон за бугром стоит ногойская арба с сеном.

Хорунжий выслушал его, и урядник согласился. Воз сена был привезён, и казаки, укрываясь им, принялись выдвигать на себе сено. Оленин взѣхал на бугор, с которого ему было всё видно. Воз сена двигался; казаки жались за ним. Казаки двигались; чеченцы,— их было девять человек,— сидели рядом, колёно с колёном, и не стреляли.

Всё было тихо. Вдруг со стороны чеченцев раздались странные звуки заунывной песни, похожей на *ай-да-ла-лай* дяди Ерошки. Чеченцы знали, что им не уйти, и, чтоб избавиться от искушения бежать, они связались ремнями, колёно с колёном, приготовили ружья и запели предсмертную песню.

Казаки с возом сена подходили всё ближе и ближе, и Оленин ежеминутно ждал выстрелов; но тишина нарушалась только заунывною песнью абреков. Вдруг песня прекратилась, раздался короткий выстрел, пулька шлепнула о грядку телеги, слышались чеченские ругательства и взвизги. Выстрел раздавался за выстрелом, и пулька за пулькой шлепала по возу. Казаки не стреляли и были не дальше пяти шагов.

Прошло ещё мгновенье, и казаки с гиком выскочили с обе-

их сторо́н во́за. Лука́шка был впереди́. Олени́н слы́шал лишь не́сколько вы́стрелов, крик и стон. Он ви́дел дым и кровь, как ему́ показáлось. Бро́сив ло́шадь и не по́мня себя́, он подбежа́л к каза́кам. Ужас застла́л ему́ глаза́. Он ниче́го не разобрáл, но по́нял то́лько, что всё ко́нчилось. Лука́шка, бле́дный как плато́к, держа́л за́ руки ра́неного чече́нца, и крича́л: «Не бей его́! Живо́го возьму́!» Чече́нец был тот са́мый кра́сный, брат уби́того абре́ка, кото́рый приезжа́л за те́лом. Лука́шка крути́л ему́ ру́ки. Вдруг чече́нец вы́рвался и вы́стрелил из пистоле́та. Лука́шка упáл. На животе́ у него́ показáлась кровь. Он вско́чыл, но о́пять упáл, руга́ясь по-ру́сски и по-тата́рски. Кро́ви на нём и под ним станови́лось бо́льше и бо́льше. Каза́ки подошли́ к нему́ и ста́ли распоя́сывать. Оди́н из них, Назáрка, пре́жде чем взяться за него́, до́лго не мог вложи́ть ша́шку в но́жны, попада́я не то́ю стороно́й. Лезвие ша́шки было в кро́ви.

Чече́нцы, ры́жие, с стри́жеными уса́ми, лежа́ли уби́тые и изру́бленные. Оди́н то́лько знако́мый, весь изра́ненный, тот са́мый, кото́рый вы́стрелил в Лука́шку, был жив. Он, то́чно подстре́ленный ястреб, весь в кро́ви (из-под пра́вого глаза́ текла́ у него́ кровь), сти́снув зу́бы, бле́дный и мра́чный, раздра́женными и огро́мными глаза́ми озира́ясь во все сто́роны, сиде́л на ко́рточках и держа́л кинжа́л, гото́вясь ещё защи́щаться. Хору́нжий подоше́л к нему́ и бо́ком, как бу́дто обходя́ его́, бы́стрым движе́нием вы́стрелил из пистоле́та в у́хо. Чече́нец рвану́лся, но не успе́л и упáл.

Каза́ки, запыхáвшись, растáскивали уби́тых и снима́ли с них ору́жие. Ка́ждый из э́тих ры́жих чече́нцев был челове́к, у ка́ждого было́ своё о́собенное выраже́ние. Лука́шку понесли́ к арбе́. Он всё брани́лся по-ру́сски и по-тата́рски.

— Вре́шь, рука́ми задушú! От мои́х рук не уйдёшь! *Ана́ сенй!*¹ — крича́л он, порыва́ясь. Ско́ро он замо́лк от сла́бости.

Олени́н уеха́л домо́й. Ве́чером ему́ сказа́ли, что Лука́шка при́ смерти, но что тата́рин из-за реки́ взя́лся лечи́ть его́ тра́вами.

Тела́ стаска́ли к стани́чному правле́нию. Ба́бы и мальчи́шки толпи́лись смотре́ть на них.

¹ Гру́бая го́рская рúгань.

Олёнин верну́лся сýмерками и до́лго не мог опомниться от всего́, что ви́дел; но к но́чи о́пять нахлы́нули на него́ вчерашние воспомина́ния; он вы́глянул в окно́; Ма́рьяна ходи́ла из до́ма в клеть, убира́ясь по хозяйству. Ма́ть ушла́ на виногра́д. Оте́ц был в правле́нии. Олёнин не дождался, пока́ она́ совсе́м убралась, и пошёл к ней. Она́ была́ в хате́ и стоя́ла спиной к нему́. Олёнин ду́мал, что она́ стыди́тся.

— Ма́рьяна! — сказа́л он, — а Ма́рьяна! Мо́жно войти́ к тебе́?

Вдруг она́ оберну́лась. На глаза́х её бы́ли чуть за́метные слёзы. На лице́ была́ краси́вая печа́ль. Она́ посмотре́ла мо́лча и велича́во.

Олёнин повто́рил:

— Ма́рьяна! я пришёл...

— Оста́вь, — сказа́ла она́. Лицо́ её не измени́лось, но слёзы полили́сь у ней из глаз.

— О чём ты? Что ты?

— Что? — повто́рила она́ гру́бым и жёстким го́лосом. — Каза́ков переби́ли, вот что.

— Лука́шку? — сказа́л Олёнин.

— Уйди́, чего́ тебе́ на́до!

— Ма́рьяна! — сказа́л Олёнин, подхо́дя к ней.

— Нико́гда́ ниче́го тебе́ от меня́ не бу́дет.

— Ма́рьяна, не говори́, — умоля́л Олёнин.

— Уйди́, посты́лый! — кри́кнула де́вка, то́пнула ного́й и угрожа́юще подвину́лась к нему́. И тако́е отвраще́ние, презре́ние и зло́ба вы́разились на лице́ её, что Олёнин вдруг по́нял, что ему́ не́чего наде́яться, что́ он пре́жде ду́мал о непристу́пности э́той же́нщины — была́ несомне́нная пра́вда.

Олёнин ниче́го не сказа́л ей и вы́бежал из ха́ты.

XLII

Верну́вшись домо́й, он часа́ два неподви́жно лежа́л на посте́ли, пото́м отпра́вился к ро́тному командёру и отпра́сился в штаб. Не прости́вшись ни с кем и че́рез Ваню́шку расплати́вшись с хозя́евами, он собра́лся е́хать в кре́пость, где стоя́л полк.

Одін дядя Ерoшка провожа́л его́. Онѣ вы́пили, ещё́ вы́пили, и ещё́ вы́пили. Так же как во вре́мя его́ про́водов из Москвы́, ямская́ трoйка стояла у подь́езда. Но Олени́н уже́ не счита́лся, как тогд́а, сам с собо́ю и не говори́л себе́, что всё, что он ду́мал и де́лал здесь, бы́ло *не то*. Он уже́ не обеща́л себе́ но́вой жи́зни. Он люби́л Марья́нку бо́льше, чем прѣ́жде, и знал те́перь, что нико́гда не мо́жет быть люби́м ёю.

— Ну, проща́й, оте́ц мой, — говори́л дядя Ерoшка. — Пойде́шь в похoд, будь умне́й, мене́, старика́, послу́шай. Ко́гда приде́тся быть в набѣ́ге и́ли где (ведь я ста́рый волк, всего́ ви́дел), да ко́ли стреля́ют, ты в кучу́ не ходи́, где наро́ду мно́го. А то всё как ваш брат оробе́ет, так к наро́ду и жме́тся: ду́мает, веселе́й в наро́де. А тут ху́же всего́: по наро́ду-то и це́лят. Я всё, быва́ло, от наро́да подальше́, оди́н и хожу́: вот ни ра́зу мене́ и не ра́нили. А че́го я не ви́дал на своéм веку́?

— А в спине́-то у теб́я пу́ля сиди́т, — сказа́л Ваню́ша, убира́вшийся в ко́мнате.

— Это каза́ки балова́лись, — отвеча́л Ерoшка.

— Как каза́ки? — спроси́л Олени́н.

— Да так! Пи́ли. Ва́нька Си́ткин, каза́к был, разгуля́лся, да как ба́цнет, пр́ямо мне в э́то ме́сто из пистоле́та и угоди́л.

— Что ж, бо́льно бы́ло? — спроси́л Олени́н. — Ваню́ша, ско́ро ли? — приб́авил он.

— Эх! Куда́ спеши́шь! Дай расскажу́... Да как трéснул он мене́, пу́ля ко́сть-то не проби́ла, тут и оста́лась. Я и говорю́: ты ведь мене́ уби́л, бра́тец мой. А? Что ты со мной сде́лал? Я с тобо́й так не расста́нусь. Ты мне ведро́ поста́вишь.

— Что ж, бо́льно бы́ло? — о́пять спроси́л Олени́н, почти́ не слу́шая расска́за.

— Дай докажу́. Ведро́ поста́вил. Вы́пили. А кровь всё льёт. Всю избу́ прили́л кро́вью-то. Деду́ка Бурла́к и говори́т: «Ведь ма́лый-то издо́хнет. Дав́ай ещё́ штоф сла́дкой, а то мы теб́я засу́дим». Притащ́или ещё́. Ду́ли, ду́ли...

— Да что ж, бо́льно ли бы́ло тебе́? — о́пять спроси́л Олени́н.

— Какбе́ бо́льно! Не перебива́й, не люблю́. Дай докажу́. Ду́ли, ду́ли, гуля́ли до утра́, так и засну́л на печи́, пьяный. Утром просну́лся, не разогна́ешься ника́к.

— Очень больно было? — повторил Оленин, полагая, что теперь он добился наконец ответа на свой вопрос.

— Разве я тебе говорю, что больно. Не больно, а разогнётся нельзя, ходить не давало.

— Ну и зажило? — сказал Оленин, даже не смеясь: так ему было тяжело на сердце.

— Зажило, да пулька всё тут. Вот пощупай.— И он, заворотив рубаху, показал свою здоровенную спину, на которой около кости каталась пулька.

— Вишь ты, так и катается,— говорил он, видимо утешаясь этой пулькой, как игрушкой.— Вот к заду перекатилась.

— Что, будет ли жив Лукашка? — спросил Оленин.

— А бог его знает! Доктура нет. Поехали...

— Откуда же привезут, из Грозной? — спросил Оленин.

— Не, отец мой, ваших-то русских я бы давно перевешал, кабы царь был. Только резать и умеют. Так-то нашего казака Баклашева не-человеком сделали, ногу отрезали. Стало, дурак. На что теперь Баклашев годится? Нет, отец мой, в горах дохтурá есть настоящие. Так-то Гирчика, няню моего, в походе ранили в это место, в грудь, так дохтурá ваши отказались, а из гор приехал Сайб, вылечил. Травы, отец мой, знают.

— Ну, полно вздор говорить,— сказал Оленин.— Я лучше из штаба лекаря пришлю.

— Вздор! — передразнил старик.— Дурак! дурак! Вздор! Лекаря пришлю! Да кабы ваши лечили, так казаки да чеченцы к вам бы лечиться ездили, а то ваши офицеры да полковники из гор дохтуров выписывают. У вас фальчь, одна всё фальчь.

Оленин не стал отвечать. Он слишком был согласен, что всё было фальчь в том мире, в каком он жил и в который возвращался.

— Что ж, Лукашка? Ты был у него? — спросил он.

— Да лежит, как мёртвый. Не ест, не пьёт, только водку и принимает душа. Ну, водку пьёт,—ничего. А то жаль малюго. Хорош малый был, джигит, как я. Так-то я умирал раз: уж были старухи, были. Жар в голове стоял. Под святые меня спёрли. Так-то лежy, а надо мной на печке всё такие, вот такие маленькие барабанчики всё, да так-то отжаривают зорю. Крикну на них, они ещё пуще отдирают. (Старик засмеялся.)

Привели ко мне бабы устáвщика, хоронить меня хотели; бают: он *мирился*¹, с бабами гулял, души губил, скоромился, в балалайку играл. Покайся, говорят. Я и стал каяться. Грешен, говорю. Что ни скажет поп, а я говорю всё: грешен. Он про балалайку спрашивать и стал. И в том грешен, говорю. Где же она, проклятая, говорит, у тебя? Ты покажь да её разбей. А я говорю: у меня и нет её. А сам её в *избушке* в сеть запрятал; знаю, что не найдут. Так и бросили меня. Так отдох же. Как пошёл в балалайку чесать... Так что бишь я говорил, — продолжал он.— Ты меня слушай, от народа-то подальше ходи, а то так дурно убьют. Я тебя жалёю, право. Ты пьяница, я тебя люблю. А то ваша братья всё на бугры ездить любят. Так-то у нас один жил, из России приехал, всё на бугор ездил, как-то чудно *холком* бугор называл. Как завидит бугорок, так и поскочет. Поскакал так-то раз. Выскакал и рад. А чеченец его стрелил, да и убил. Эх, ловко с подсшек стреляют чеченцы! Ловчей меня есть. Не люблю, как так дурно убьют. Смотрю я, бывало, на солдат на ваших, дивлюся! То-то глупость! Идут, сердечные, все в куче да ещё красные воротники нашьют. Тут как не попасть! Убьют одного, упадёт, поволокнут сердечного, другой пойдёт. То-то глупость! — повторил старик, покачивая головой.— Что бы в стороны разойтись да по одному? Так честно и иди. Ведь он тебя не уцелит. Так-то ты делай.

— Ну, спасибо! Прощай, дядя! Бог даст, увидимся, — сказал Оленин, вставая и направляясь к сеням.

Старик сидел на полу и не вставал.

— Так разве прощаются? Дурак, дурак! — заговорил он.— Эхма, какой народ стал! Компания водили, водили год целый: прощай, да и ушёл. Ведь я тебя люблю, я тебя как жалёю! Такой ты горький, всё один, всё один. *Нелюбимый* ты какой-то! Другой раз не сплю, подумая о тебе, так-то жалёю. Как песня поётся:

Мудрено, родимый братец,
На чужой сторонке жить!

Так-то и ты.

— Ну, прощай, — сказал опять Оленин.

¹ Мир щ и л с я; м и р о в щ и н а — пир, попойка.

Старикъ встал и подал ему руку; он пожал её и хотёл идти.
— Мурло-то, мурло-то давай сюда.

Старикъ взял его обеими толстыми руками за голову, поцеловал три раза мокрыми усами и губами и заплакал.

— Я тебя люблю. Прощай.

Оленин сел в телегу.

— Что ж, так и уезжаешь? Хоть подарь что на память, отец мой. Флинт-то подарь. Куды тебе две,— говорил старик, всхлипывая от искренних слёз.

Оленин достал ружьё и отдал ему.

— Что передавали этому старику! — ворчал Ванюша. — Всё мало! Попрошайка старый. Всё обстоятельный народ,— проговорил он, увёртываясь в пальто и усаживаясь на перекё.

— Молчи, швинья! — крикнул старик смеясь. — Вишь, скупой!

Марьяна вышла из клёти, равнодушно взглянула на тройку и, поклонившись, прошла в хату.

— *Ла филь!*¹ — сказал Ванюша, подмигнув и глупо захотав.

— Пошёл! — сердито крикнул Оленин.

— Прощай, отец! Прощай! Буду помнить тебя! — кричал Ерошка.

Оленин оглянулся. Дядя Ерошка разговаривал с Марьянкой, видимо, о своих делах, и ни старик, ни девушка не смотрели на него.

¹ Девушка! (франц.)



Объяснение малознакомых слов

А м у н и ц и я — снаряжение военнослужащего (крóме ору́жия и одéжды).

А н н а — орден св. Анны, котóрым награжда́ли в ца́рской Росси́и воéнных (офице́ров) и штáтских чи́новников.

А р б а́ — двухколёсная теле́га.

А у́ л — го́рное селе́ние.

Б а р а н т а́ — здесь: отго́н скота́.

Б а й г у́ ш — бедня́к, ни́щий.

Б е ш м е́ т — стёганный полукафта́н, восточная одéжда, у же́нщин ве́рхняя, у мужчи́н сверх бешме́та но́сится черкэ́ска.

Д ж и г и́ т — иску́сный, ло́вкий наéздник.

Е с а у́ л — офице́рский чин в каза́чьих войска́х.

К а й м а́ к — сли́вки, сня́тые с топлёного молока́, гу́сто ува́ренное молоко́.

К а р ч а́, и́ли **к о р я́ г а**, — затону́вшее де́рево, бревно́ или пень с корня́ми.

К а ю́ к — небольшо́я ло́дка с плóским дном и двумя́ ве́слами, че́лл.

К и з я́ к — вы́сушенный, спрессова́нный наво́з; употребле́ется как то́пливо на Кавка́зе и в Сре́дней Азии.

К у н а́ к — у кавка́зских го́рцев — лицо́, связа́нное с кéм-нибу́дь обя́зательством взаимного гостепри́имства и дру́жбы; друг, прия́тель.

К у р п е́ й — овечья шку́рка, здесь — верх на ша́пке.

К в а р т и р ь е́ р — военнослужа́щий, на котóрого возлагáлось поды́скивание кварти́р для во́инских часте́й.

Л а п а́ з (лаба́з) — кры́тый наво́с на сто́йках для ра́зных на́добностей: торго́вых, охóтничьих, хозяйственных.

Л и́ в е р — тру́бка с расшире́нием посере́дине для насáсывания жидко́стей.

Л ы ч а́ (алыча́) — фрукто́вое де́рево из сли́вовых.

М а ш т а́ к, **м а ш т а́ ч о́ к** — небольшо́я лоша́дка.

Монета — металлический денежный знак. В просторечии гребенских казаков — монёт.

Мюрид — последователь мюридизма, религиозно-политического движения у мусульман на Кавказе — в первой половине XIX века. Мусульманский послушник, обязанный беспрекословно повиноваться высшему наставнику — шейху, имаму. Но Толстой употребляет это слово в ином смысле: наставник.

Наиб — местная власть на мусульманском Востоке; на Кавказе в старину — старшина.

Натрубка — пороховница, старинный прибор для подсыпания пороха на полку ружья.

Ноговицы — принадлежность обуви, закрывающая голень с коленом.

Нуды — мучительные для скота насекомые: оводы, слепни, мухи, мошкарá.

Озипать, или озепать, — сглазить.

Онучи — обмотки для ног, портянки.

Побочин — возлюбленный.

Подсошка — подставка, на которую опирают ружье при стрельбе.

Походже — казаки на походе.

Проезд — ход лошади между шагом и бегом.

Раина — название пирамидального тополя на Украине и на Северном Кавказе.

Рогаль — то же, что рогач: самец олень или другое животное с рогами.

Родительское — виноградное вино.

Свежевать — снимать шкуру с убитого зверя.

Сежа — приспособление для ловли рыбы на реке.

Травянка — несъедобная узкая и длинная тыква, из которой делают сосуды для жидкостей, вроде походной фляги.

Тёрн — то же, что терновник — низкий колючий кустарник.

Уставщик — лицо, заменяющее священника у старообрядцев-беспововцев, грамотей, начётчик, хорошо знающий устав, свод правил. Заведующий порядком чтения и пения в церкви, согласно с церковным уставом. Дядя Ерощка это слово употребляет в уничижительном смысле, он так называет станичных начальников, чиновников, всех охранителей государственного порядка.

Фельдфебель — помощник ротного командира из нижних чинов.

Флинта — ружье.

Фушгáт — военный обоз.

Хорунжий — казачий офицерский чин.

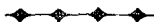
Чамбары (чембары) — просторные шаровары, надеваемые поверх одежды.

Чапра — свежесжатый сок винограда.

Чихирь — молодое вино домашнего приготовления.

Ш и н б к — каба́к.

Ш и й г а — ши́ит, последователь ши́изма, одного́ из двух основных направлений в исла́ме — рели́гии, основанной, по ара́бским преданиям, проро́ком Мухамме́дом (Магомéтом) в VII ве́ке и изло́женной в Корáне. В отличие от сунитов, ши́иты признава́ли то́лько Корáн и отверга́ли религиозное значéние предáния (су́нны). Ши́иты не признаю́т сунитских халифов, а счита́ют законными руководителями мусульма́н има́мов — пото́лков Али́ и его́ жены́ Фатимы́, дочери́ Мухамме́да. У ши́итов весьма́ популя́рен культ «святы́х му́чеников», о́собенно тре́тьего има́ма Хусей́на. Ши́изм в сере́дине XIX ве́ка был распространён в Азербайджáне, Дагестáне и Чечне́.



СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|-----|
| В. Мануйлов. Повесть Л. Н. Толстого «Казáки» . . . | 3 |
| КАЗАКИ | 20 |
| Объяснение малоизвестных слов | 189 |

Для восьмилетней и средней школы

Толстой Лев Николаевич

КАЗАКИ

Повесть

Ответственный редактор М. И. Сальникова. Художественный редактор
Н. З. Левинская. Технический редактор Г. В. Лазарева.
Корректоры Т. П. Лейзерович и З. С. Ульянова.

Сдано в набор 25/V 1971 г. Подписано к печати 24/VIII 1971 г. Формат 60×90^{1/16}.
Печ. л. 12. (Уч.-изд. л. 9,63). Тираж 100 000 экз. ТП 1971 № 626. Цена 41 коп. на бум. № 2.
Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Детская литература» Комитета
по печати при Совете Министров РСФСР. Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1.
Ордена Трудового Красного Знамени фабрика «Детская книга» № 1 Росглаволиграф-
прома Комитета по печати при Совете Министров РСФСР. Москва, Суцёвский вал, 49.
Заказ № 2449.

Цена 41 коп.